

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ.

В туманно вдыхающий вечер я думал о Нэлли... Она возникала такая же, как всегда—светловолосая; и—с подстриженными кудрями, падающими на большой, мужской лоб, перерезаемый продольной морщиной: два глаза лучистых и добрых мягчили ее неуклонную думу чела; как оса, в белом платьице, напоминающем тунику, или... подрясник, она—как монашек; сквозная и легкая стола, желто-лимонная, перепоясанная серебряной цепью, бывало, легко разлетается в солнышке, когда—в моей легкой, соломенной шляпе и с папироской во рту—легкой, легкой походкой бежит по тропинке она... по направлению к Куполу...

Мне она—юный ангел: сквозной, ясный, солнечный; и любовался я ей; мне казалось: она—посвятительный вестник каких то забытых мистерий.. и светит, как солнечный свет; тридцать лет моих жадных исканий свершалось в квадрате, очерченном мне Арбатом, Пречистенкой; там—расселились давно чудаки; и я жил среди них, пока Нелли не вырвала... И—отлетел пропыленный квадрат-стая стран полетела на нас; рой народов нас встретил; в Сицилии вырос космический мир из блистающих камушков пестроцветной мозаики... А Египет?.. На осликах мы; зеленеют пространства; и—пряные запахи... В чистых восторгах познания мы...

Углублялась духовная жизнь: начерталось грядущее—в миги, когда мы стояли пред Сфинксом; и вспыхивал в наших руках Святой Огнь под тяжелыми сводами гроба Господня...

И после неслись города—Мюнхен, Базель, Фицнау; и—наплывали градации галлерей и музеев; суровый Грюневальд, Лука Кранах, блистающий красками, Дюрер и младший Гольбейн—упоительно ширили невыразимую мысль своей палитры, плакало темной, зеленой струей фирвальдштетское озеро: Штейнер бросал в нас кипящие курсы...

Да, еслибы чувствовать „миги", разъединенные друг от друга годами и чрез года объясняющие себя, то мы многое б поняли; наше грядущее, крадучись Духом нам в душу, свершается еще задолго до сроков... И Голос: „Ты жди Меня" был непреложен; дождался Его... Этот голос во мне подымался... Он выслал мне Нэлли.

Он вел нас в Египет: ко Сфинксу; оттуда—ко Гробу Господню... И Он подымался в вагоне, когда я вперялся в лазурно зеленые камни, покрытые мохом, между Христианией и ослепительным Бергеном... Христиания через Берген вела к увенчанью моей головы... венцом терний. Мне Дорнах стал „Dorn"ом.

(Отрывки из „Записок Чудака").

Москва, 1919 г.

Андрей Белый.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

От Москвы до Палермо.

1. МИГОЛЕТ.

Мы с женой улыбаемся: Ася в коричневом, легком пальто в как-то странно заломленной шляпе дымит папироской; не верится: споры, кружки, пропыленные кресла редакций, беседы о ритме и метре, сонеты, поэты, эстеты, анкеты, мечтатели, богоискатели—все отлетело!

Затрелил свисток.

Вереница друзей отмахала нам шапками; мы им в ответ отмахали цветами в окно; пробежала платформа; бежали, блестя фонари; отползала Москва; полусумраки кутали; гомоны, став тишиной, простучали колесами; выстуком выпали стаи сует из души.

Улыбались мы, странники: странствие месяцы зрело, погнало из Москвы мимо пышных музеев в Сицилию, чтобы с началом весны нам подняться на Север: обзором Италии; так мы хотели.

— Знали ли мы, что мы едем в Тунис, миновав на пути все, зачем мы отправились в странствие; странствие бросило нас в глубину убежавших столетий.

Мы в эту ноябрьскую ночь не узнали того, на что едем. Мы спали.

Проснулись: снежайший покров пзорвался в летящих полях; выбегали: побегать по тающей слякоти - в Минске и Бресте,

впирая носами задувшие ветры; промоины чахлой желтеющей зелени, ширясь, сливались; сырая равнина без снега тянулась.

Кондуктор за мзду предоставил нам в Бресте купэ; говорили, оставшись вдвоем, о событиях, нас сочетавших; нас ждал — слом путей; мы иными вернулись; все то, что скопилось в душе, еще спало под пестрыми пятнами легких сквозных впечатлений; и пестрые пятна поили нас снами, как вешнюю землю; все то, чем цвели, осложнялось дождями пути, а таинственный импульс, погнавший, таился еще в Монреале, в Египте, в мечтах Соломонова Храма, у Гроба Господня.

Глядя на промоины, там побежавшие в окнах, мы вздрогнули; взоры — слились: мы — впервые остались вдвоем; ожидала сумятица дней, по которым мы шли к... посвящению в жизнь:

— „Перестала быть сказкою сказка о древних путях..."

— „Да, я верю!"

— „И ты не боишься того, что нас ждет..."

— „Верю в встречу..."

— „В ту самую..."

— „Только лицо, обещавшее встречу, исчезло."

— „Куда?"

— „Я — не знаю..."

— „Оно не вернется".

— „О, нет: никогда..."

— „Но кого же ты ждешь?"

— „Я — не знаю..."

— „В масонов не веришь?"

— „Не верю..."

— „Когда это будет?."

— „Не знаю..."

Варшава!

Я помню — пролетки, пронзительный ветер над Вислою, мост и — вокзал; на вокзале сидели; глядя на меня, улыбалась жена; где то чуялись бури в далеком грядущем. Вчера еще — говоры, сборы, друзья; и сегодня — одни; мы писали открытки.

Носильщик повел нас в вагоны, дохнувшие штофной обивкою, паром и жаром; защелкали двери; и—снова одни; пробегали листок, данный мне „Мусатетом“: к такому то сроку—прислать то и то; к такому то—это; но я ничего не пришлю:

— „Человек ведь не кляча“.

— „Единственной книгою будешь мне ты“—говорю я жене—„мои книги—не книги: мы все подавляемся сложностью: вот я писал о пути, говорил о пути, проживая в беспутице“.

Ася смотрела доверчивым взором: она вопрошала меня:

— „Ты ведь странствия сам захотел: не пеняй на себя...“

Уже утро: граница; травиночки зазеленели; и — солнце; уже горбоносые, смуглые лица голубоштанных носильщиков в кэпи, галдя, окружили: немецкая, польская, галицийская речь; все—иное: сидели за утренним кофе; я видел, что Ася устала; Она, не глядя на меня, рассказала свой сон обо мне; ей казалось, что многое множество двойников окружают меня; я же, светлый, томлюсь в окруженье толпы своих собственных призраков:

— „Странно“.

— „Но ты—победил...“

— „Победил?“

— „С величайшим трудом!..“

Все—иное.

Не те уж вагоны, не те одеяния дам: шутки тоже—не те, как... равнины; они—многотрубные; трубы развесили дым; и—пошла черепица.

То—Австрия.

Станции, остановки; тепло; еще веют в окошко деревья: своим красноблёклым листом осыпают проглядные глянцы озер; больше труб, больше копотей; домики, домики,—домики: старая жизнь пресеклась; то—окончилось.

Вена!

И мы окунулись в ее громозвучные улицы; по безконечным проспектам катаемся с ласковым фьякром. Ринг-Штрассе: люблю этот легкий ампир в переливчивых вывесках; тихо проходит Карлскирхе; на нас поглядел Сан-Стефан, куда Ася, смеясь,

увлекала меня, где стояли в сплошном полусумраке, слушая про победь; был здесь и раньше; и был здесь позднее: пред войной; что-то есть мне родное, славянское, в Вене.

Я помню тот день: мы попали к закату на фыркнувший фейерверк скрипок и слов; мы сидели за столиком; дико кипела фантазия пляшущих, пратерских толп кабачков; мы сидели усталые, сонные, долго сидели без мысли; нас фыркнувший фейерверк вдруг окружил, как... целебная ванна, как... тишь деревенских полей, растворяя недавние образы переживаний, московских собраний; и легкою пеной шампанского—в мыслях истаял тот сон; легкой пеной шампанского в памяти нашей истаяла Вена.

Осталась—далеко.

За окнами высились остро вершины штирийских гигантов. туман и серебряный снег наклонялись над окнами поезда; помню деревню; наш поезд чего то здесь ждал; пробежали со станции к дикому краю деревни, глядели на горы.

И—ночь опускалась на снег; накренялись над скатом вагоны.

Понтебба: Италия!

Помню: теплом вздышали ветра; открывали вагонные окна, курили какие то кислости у итальянца, кивавшего шапкой чернейших волос и подававшего нам апельсины; туманистым светом луна пробегала над роем неясностей, над уплощавшимся миром безгорбых равнинок; и все—залазурилось; тучи разъялись, как вата; и там, где, казалось, ждала нас земля, из кисейных снежнейших обрывков возникнула бирюзоватая Адриатика; в ней намечались огни—золотые и красные; вот—и наметились, чуть выступая тягчающим контуром башни...

И—где его видел?

Я вспомнил, что видел Венецию в точно такой обстановке—сквозной, над водой, под луной, с этой легкою башнею у... Даццаро, быть может; теперь развернулась она перед нами, как сон, продержалась недолго в блаженнейшем сонном сознаньи.

Венеция, милая,—развоплотилась она!

Москва, 1918.

2. БЛЕСК ВЕНЕЦИИ.

Много читал я о ней; но, вступив на ее берега, я не вспомнил о читанном; вспомнился лишь—Тициан; Тинторетто своим колоритом позднее явил мне ее; кружева ее помнились в... венецианских стеклянышах; я буду описывать то, что запомнилось мне, и что выразил Гёте словами: „Венецианец должен превратиться в существо особого рода, подобно тому, как и Венецию можно сравнивать только с нею самою".

Таинственен миф восставанья ее, как о нем повествует почтеннейший Буркгардт [1]):

„25 марта 413 года, когда по вычислениям астрономов или астрологов того времени звезды предвещали счастливейшее будущее всякому начинанию,—...переселенцы из Падуи заложили первый камень в лагунах с тем, чтобы основать здесь святое и неприступное убежище от варваров, терзавших Италию".

И Марк Антонио Сабеллико влагает молитву в уста падуанцев, производивших закладку чудесного города.

Венецианцы рисуются нам: белокурыми, стройными; венецианец острижен; пушился в своих полудлинных кудрях, выпрядающих из под маленькой, кругленькой шапочки; был он исполнен энергии; он—накоплял свои роскоши; был он уклончив, хитер и лишен политических предрассудков, прастерши влиянье на весь полуостров; его ненавидели папы; он трезвость торговли соединял с благочестием; в век гуманизма скорей был врагом гуманистов, хотя втихомолку и он отдавался волне вольномыслия; здесь повстречался Петрарка с кружком, преисполненным поклонения Аверроэсу; то были смешливцы и скептики, скрытно таившие свой атеизм под личиной схоластики.

Нет интереса к классической древности здесь; высылает Венеция в Рим своего эмиссара, врага гуманизма: то—Павел Второй (папа Римский).

---

[1]) Яков Буркгардт: „Культура Италии в эпоху возрождения", т. I, стр. 73.

Таков обитатель Венеции в характеристике Буркгардта; он не совпал со словами великого Гёте; и все же: слова эти мне говорят; наблюдения Гёте во многом верны.

Есть другая Венеция, рядом с Венецией Бургардта; эту Венецию видел и я; видел Блок, рассказавший:

На башне с песнию чугунной
Гиганты бьют полночный час.
Марк утопал в лагуне лунной
Узорный свой иконостас.

Ту Венецию мы наблюдали; мир отблесков в ней, красный парус; и—дали:

О, красный парус
В зеленых далях!
Черный стеклярус
На темных шалях!

А. Блок.

И в Венеции удивлялся жене: тому взрыву высоких, чистейших исканий, которым она исходила, когда, став пред старым палаццо, она объясняла штрихи завитые резца, иссекавшего эти палаццо, иль, сидя в гондоле, склоняясь над водою, следила за змейным извивом танцующих отблесков; светловолосая, сняв свою шляпу, она подставляла глаза и улыбку лучам, отдаваясь чистейшим восторгам познания; плакали светлолазурные струи под нею; и пышно носились воздушные тучи сияний, окрашивая косяк дома, верх статуи, купол и облако сказочным плачем о прошлом; в том солнечном плаче казалася венецианкою Ася; как будто она родилась не в России, а—здесь: все ей было знакомо, привычно, отчетливо; все пронизали глаза ее; я из ее проницательных глаз научался Венеции; первый урок мой—урок созерцания жизни—протек под лазуревым небом.

Здесь Ася—учила меня.

Палермо, 1910.

3. ИСПАРЕНИЕ ВОД.

Вся Венеция—лепеты адриатических струй, красный парус в зеленой дали; кружевами узористых зданий сквозная, исшедшая ткань, зачерневшая в беге столетий своими палаццо; мы, сидя в гондоле, о ней говорили:

— „Земля в ней отсутствует; мысль о земле моряков, породившая сон о земле моряков, есть Венеция".

— „Сон воплотился: зеленоватыми далями, красными парусами сперва; паруса же, слагаясь, сплотились; построили контуры светлоцветных палаццо".

— „Смотри—косяки заревые на стенах: совсем—паруса".

— „Контур зданий с веками темнел".

Отвечала мне Ася:

— „Да, из лунного выблеска блесков лагун расставлялись фантазии цареградской мозаики".

— „Черный же этот палаццо, блистает, как черная россыпь стекляруса на разлетевшейся шали".

Так мы говорили не раз, созерцая видение пенного кружева—из лагуны, с балкона отеля, над выгнутым мостиком. Все переливы воздушно протянутой радуги, все перламутрины блеска расставились стенами; точно небесный пожар ясногранно горел адамитовым камнем и синим сапфиром, слагавшим тяжелую храмину Марка. И лев его—есть ли евангельский лев? Абиссинский, суданский скорее он лев; источает роскошества жизни:

> Лев, ангел Абиссинии, в тройном венце из роз.
> Зардели своды синие в тройном венце из роз.
> На дикой гриве вздыбленной, почил Господень Крест,
> Как жезл, процветший в скинии, в тройном венце из роз.
>
> *В. Иванов.*

Великолепие Марка блистательно давит: религиозное чувство молчит; так и кажется: быстро рассыплется Марк в многоцветные горсти холодных стекляшек. Мозаика Марка не выцвела в мощности образов старой Равенны; перетончения Монреаля в ней

нет; здесь заемные выблески, пригнанные волной из Царьграда, перенесенные ценности более старых веков. Как Филельфо, Ауриспа сбирали старинные книги, так Марк—собиратель старинных царьградских камней; он не бросил их в творческий горн, сам Царь-Град только выблески; ведь и его породила в веках базилика Италии.

Гранники блещущих звезд, заплетенные вязями цветосветных узоров орнамента оседали на камень уже в пятом веке; как знак нисхожденья духовного света во плоть: воплощением духа в материю дивно поет нам мозаика; эта мозаика после уже разложилась: на чистую живопись и на чистую светопись; живопись—фрески Джиотто; а светопись—ярко поющий витраж; мозаический блеск есть сошествие Духа на камень: вся живопись—одушевление камня; а самое расплавление духом коснеющих масс—громы музыки; музыка, живопись, архитектура, скульптура и слово, сплетенные,—храм, или—синтез искусств; в настоящее время мечтанье о новой мистерии явно встречаются с грезой о новом строении Храма; из нового Храма нам выбрызнут новые формы искусств, как из Храма прошедшего времени брызнули музыка Баха; и брызнула живопись: не из т е а т р а сложилася техника старых искусств, а из Храма. Но Марк не есть Храм.

Триумфальная арка блистающей Павловой церкви—пример процветанья грядущим старинного, христианского зодчества; верно Каррьер [1]) отмечает громаднейший сдвиг византийского зодчества по отношению к базилике, в которой еще нам нет фокуса, центра: „централизационное начало византийства... высказывается в архитектуре тем, что здесь достигнуто и возведено к господству с р е д о т о ч и е [2]), которого еще нет в римской базилике. Около центра очерчивается круг, а над ним, опираясь на столбы, связанные полуциркульными арками, возводится посредине церкви ...высокий купол и дает целому определенный вид".

---

[1]) Мориц Каррьер: „Искусство в связи с общим развитием культуры" Том III.

[2]) Курсив автора.

Но, воистину, средоточие зодческих устремлений к единому центру—стремленье души, не нашедшей себя, к своему „Я" души; это „Я"—есть Христос. В храме греческом нет средоточия; в храме египетском—то же; здесь, в Греции, колоннада господствует; центр христианского зодчества—центр жизни в Духе: невидимый центр; из него излетает впоследствии новая, философская мысль, излетает впоследствии новая, христианская музыка; центр—романтический центр; обложить его камнем нельзя: надо камень сперва пронизать, воплотив в него душу: одушевление камня соборов—есть музыка; стройный хорал и гудящий орган—испарение зодчества в дух.

Но стремление Храм преждевременно влить в государство и храм сделать градом,—срывается в мощных попытках строительства; церковь Петра, город солнца, учение Макиавелли суть явно подмены; они только следствие ранее бывших подмен; здесь невидимый, динамический центр жизни духа, проросший в нас ритмами,—музыка, мысль, философия, антропософия, мудрость; до времени уплотненный и явленный, он есть канон государственной жизни иль жизни рассудочной; он есть абстракция: догмат, моральный критерий, закон государственный; в архитектуре он—купол, построенный по всем правилам техники; государственная централизация и подчинение церкви земному началу сказалась отчетливо: в архитектонике византийского купола; иррациональная форма его (купол Айя-Софии) вполне рациональна в позднейших постройках; окаменением духа глядят купола Византии; в готическом храме—нет купола: центр в нем духовен; он—ритмы, хорал и орган; а дальнейшее уплотнение духа—мечеть: так не спроста она принимает впоследствии купол Царьграда, его развивая по своему; так же не спроста воздушнейший купол Юстинианова храма становится куполом, на котором встает полумесяц (не крест): мусульманство—религия, уплотняющая песни духа до тельных потребностей, развивает градацию куполов: появляется луковка.

Что-то от купола мусульманских мечетей есть в куполе Марка; весь храм есть холодный, роскошный и благороднейший

блеск; но весь строй его—строй Византии, он—строй государственной жизни; общественной жизни в нем нет; вспомним плач Льва IV-го, императора Византии, о строе его окружающей жизни, блестящей и внешней,—и мы отвернемся от роскошей старого Марка.

Строение византийского храма совпало с эпохой величия Византийской Империи (Велизарий, Нарзес, император Юстиниан); в VI-ом веке возникла София, произведение Исидора Милетского и Анфимия; легкий, взлетающий купол садится на храмный квадрат, осеняя пространство квадратного храма сиянием, слетающим свыше; и это—мозаика.

Юстиниан восклицает, увидя ее: „Превзошел тебя я, Соломон!“ Силенциарий пишет: „Кто... вступил в этот храм, тот не будет хотеть уже выйти“. София есть небо; спустилось оно—стало градом; градостроительство напечатлело себя в мусульманской культуре стройнее, чем в нашей; раздвоенность между землею и небом, присущая нам, христианам, отсутствует там; мусульманство во всем—монолитно и цельно (отсюда же косность его); оттого-то впоследствии византийские „Храмы“ и стали.. мечетями.

Расцветание византийского стиля в Венеции—сон моряка о Востоке, откуда он плыл, распустив красный парус; тот сон отложился в блестящих каменьях, где вложены впечатленья Востока; не чувство святыни господствует здесь; пестрота путевых впечатлений Востока, удержанных памятью.

Марк начинается только в десятом столетии; строится в более поздних веках; он есть греческий крест; пять квадратов креста вознеслись куполами; алтарь образован двумя полукружными сферами; своды двухъярусно гнутся, блистая мозаикой; а драгоценные мраморы—все капители колонн; нижний ярус стены—то же мраморен; мрамором грузно просел на тяжелую площадь огромный Сан-Марко; туман окружает его, выдавая неясно свои островерхие башни; и дальше—фантазия пенного кружева; всплески каналов и хор мандолин, уплывающих в море.

Великолепно В. Розанов описует величие мраморов Марка; невыразимый налет этих мраморов вещий налет старины, где проеденность копотью камня, где действие воздуха, вызывает в поверхности мрамора химию невыразимых оттенков, „чуть-чуть“—без которого нет гениальных творений; и гений, создавший „чуть-чуть“ на поверхности мрамора легкою кистью веков, не строитель, а... климат: природа Венеции; он создает гобелен пейзажа, которым могли бы хвалиться создатели гобеленного творчества, ловкий Лебрён, Ван-дер-Мейлен, певцы Louis Quatorze на коврах [1])...

Эти краски Венеции—точно ковры; эти мраморы—красочны; в мраморах действенны нам ощущенья оттенков; неповторяемы белизны и упоры каррарского мрамора, превосходящие мрамор паросский; голубизной говорят мавританские мраморы; зеленоватый египетский мрамор и черный египетский мрамор—вещают о тайне; краснеет пунический мрамор (я видел его в Карфагене); и в легкие зори оттенков стареют точеные мраморы венецианской стены; отнесите их к нам; и—в столетиях мраморы эти, вобрав в себя воздух чужбины, окрасятся иначе: стиль—переменится.

Помню, как встала из моря Венеция стаями дальних домов, открывавших пунцовые и золотые огромные очи; на нас поглядела очами; и к нам приплывала домами; втянула в вокзал, переполненный гомоном, рыком и свистом:

— „Facchino!..“ [1])

И он—появился, схватив наши вещи; мы мчались куда-то за ним сквозь вокзал мимо касс, обвисающих черными, петушиными перьями бравых жандармов с такими усами, что—ооо!

Оказались у берега, в берег, живее, плескали яснейшие воды канала; и то—„Canal Grande“; он весь—в диадеме огней, раздробляемых, пляшущих змеями; тихо плывут, подплывая, какие то черные лебеди; ближе—и нет: катафалки. Поняли: гондолы!

---

[1]) M. j. Dumesnil: Histoire des plus celebres Amateurs français. V. II. 1858.

[1]) Носильщик.

Изогнутым носом одна закачалась у ног; задрожала корма под ногою у Аси; когда гондольер протянул свою руку; другою вцепившись в весло, им отталкивал нас; полетели по ясной воде; диадемы огней зализали гондолу, перебегая от дальнего берега: встретились с грезой своей, в ней зажили; а прошлое: Вена, Варшава, Москва—отплывали.

Тот миг мне запомнился; он был началом таинственных странствий моих; тридцать лет моей жизни досель протекало в квадрате, очерченном пыльным Арбатом, Смоленским бульваром, Пречистенкой; здесь я томился, сюда, из далекого Запада, Ася сошла, протянула мне руку; и—вырвала.

Более я не вернулся в Москву: если я обитаю в Москве, значится я—давно умер, давно разложился; Москва есть могила.

Я помню тот миг: гондольер, повернувшийся к нам, показуя куда-то веслом, говорил:

— „Дворец Ферри!"

Пятнадцатый век обставал; вот—Риальто; и вот—Джакометто; и некогда тут проходили суда, нагруженные винами; тут от Риальто до Марка шли линии ароматических лавок.

Смежили глаза; и—бесшумно скользили куда-то; открыли: все—пусто; ни звука, ни тени; пожалуй, есть звук переплеска подъездов (подъезды ступенями сходят в зеленую воду); пожалуй есть тени домов: косяки, как платки, на луне; и—канал проходил за каналом.

Площадь размерами с комнату изредка справа и слева порой открывалась; от серого, тусклого бока палаццо над ней изгибался, тусклейший фонарь, освещая резное, какое-то неживое пространство; и призрак гондолы чернеющим клювом скользнул мимо нас.

Поворот: и вот—мостик; под ним проезжаем; по мостику сверху бегут: топотня голосов и шагов; края модного магазинчика бросили ярко в канал светоглазые окна; и светопись, переливаясь рыбёшками, пробриллиантилась в мутно-зеленой воде; и опять—никого; тихо плакало в сумрак весло под немыми палаццами; тихо мелькнула своим катафалком гондола; и тихое

тренье гондол; громкий окрик, и—лебедь иль гроб (я не знаю) такой теневой, такой черный, изрезанным клювом—прошел в темноту.

У подъезда отеля: под старой, резною, изогнутой дугами дверью; и дверь—распахнулась; канал ослепительно вспыхнул рыбёшками света; стоял на пороге отеля лакей в синем фраке и в белых перчатках; повел коридором по мягким коврам, по холодной, цветущей мозаике камня:

— „Вам комнату?“

— „Комнату“.

Край ослепительно белой смеющейся залы мелькнул завитушчатым потолком и чернеющей мебелью стиля барокко; мы смутно увидели: столики, столики; и за одним, точно палка, застыл седоусый француз. Нам открыли дверь комнаты стиля ампир.

Принесены чемоданы; на столике в чистых салфетках горит серебром „Thé complet“. Мы подходим к окошку, открыв доходящие до полу двери, и—ночь пролилась из лагун: янтареющим месяцем; в месяце встали узоры домов и бока неживого палаццо.

Мы долго и молча стояли, просунувшись в месяц, ходивший за тихой стеной над ...пятнадцатым веком.

Палермо, Москва, 1910--1919.

4. ВЕНЕЦИЯ.

Есть две Венеции.

Город кривых переулков, набитых лавченками, роем сырых магазинов, где блещет тисненая кожа цветных кошельков, где хрусталится красный, граненый флакончик, играющий золотом; золото—ясное, темное, черное переплетает резьбу венецианских орнаментов: мрамор на золоте, золото в мраморе, золото с черным узором больших кружевеющих окон встречает в старинной Венеции нас; площадь Марка полна им; но золото маленьких ла-

вочек — яркое, ясное; золотом тем проплетается кожа бюваров, хамелеонно-тисненых материй и рой саламандровых кошельков.

Переулок бежит пред тобой; сверху узкие щели туманного неба; а — спереди мостик; горбатится он над водой, отражаясь в зеленом канале; склонясь на него созерцаешь канал до... соседняго мостика, где — перекресток каналов; качается лебедь гондолы над трепетом ряда слонового цвета домов, отраженных на водах, — слонового цвета; они были, верно, белы; из каррарского мрамора; время и копоть покрыли давно их налетом; они как то матовы; и — желтовато-серы; иногда покрываются явственным розовым, легким налетом; орнаменты дуг, капителей колонн выявляются издали тонким точеньем слоновой, крепчающей кости; иные палаццо серы; а иные — черны и прекрасно угрюмы; взывает вдали гондольер; гондольер от далекого перекрестка ему отвечает.

Венеция всплесков течет, разрезая Венецию узеньких закоулков и лавочек.

Легкость и грация стрельчатых арок, широко летающих кружевом готики, как-то особенно здесь сочетается с воздухом; всюду розетты над мрамором пышных колонн; а цветки темноватых снаружу и ярких внутри изощренных витражей вырезывают двенадцатилистия, десятилистия в розовом, в темно-потухшем, в чернотном иль в белом источенном камне стены; дворец дожей таков; бледнорозовый он; он сквозной галлереей стоит; и пленяет сквозными розеттами; расстояние окон и плоскости, точно слепые меж ними, и форма (массивный, положенный каменный куб) — все пленительно в нем; этот «стиль» не придумаешь; вырос, как дерево, он в том месте, в веках; и пленительно прорези там кружевеют над дугами арок; и две галлереи — одна над другою; изысканны вырезы острых зубцов верхних стен.

Вспоминаю: над тихими водами плавали сказки процессий; большой, водяной буцентавр, окруженный тритонами, нимфами встретил в пятнадцатом веке: Элеонору и Беатриче [1]); на пло-

---

[1]) д'Эсте.

щади Марка ходили процессии; яркие, красные свечи мерцали из воздуха явственно на золотых канделябрах; в толпе добродушно расхаживал шут, не похожий на прочих шутов: Панталони; в палаццах читались стихи Кавальканти, Гвиттоне, Гвидо Гвичинелли; и славили Бога оркестры; Джованни, Джентиле Беллини, Джорджионе, ловивший полотнами солнце златой Тициан сотворяли свой мир; колоритами пел Тинторетто, облекши в нежнейшие роскоши стены Большого Совета; и Поль Веронез расцветил потолок непонятной мне гаммою красок; я чувствую силу его; он—мне чужд.

Вспоминаю, как я... вспоминал это все над каналом на мостике, нежно овеянный воздухом тинтореттовых колоритов; но я отрывался; и молвь переулков, и молвь пропестревших лавченок, бывало,—пройдет, набежит и сметет с серогорбого мостика... в уличку, где... под окном парикмахера видишь, бывало, как мылит он щеки комми из Парижа иль Данцига; и—просинеет сквозной вуалеткой прохожая мисс, прижимая малиновый томик Бедекера.

Палермо, 1910.

5. СТРАННИКИ.

В Риме, в Неаполе, в милой Венеции не был в музеях: спешили в Сицилию; думалось: это—потом; ведь в музеях живут; «посещать» на ходу их нельзя; мы хотели сперва изучить мир культуры Сицилии, там проследить столкновенье норманнов, арабов с величественной византийской культурой; и после, поднявшись на севере, через Равенну, Ассизи, чрез фрески Джиотто вплотную уже подойти к Ренессансу; но мы—устремились в Тунис; Тициан, Тинторенто лежали далеко от нас; их вбирать в себя было бы упреждением сроков; весь север Италии был в это время мне чужд; он—мелькнул миголетом; я знаю Италию в призме трудов об Италии: Буркгардт, Гримм, Фойгт и Паскуале-Виллари еще не научат Италии; Гёте в своих впечатле-

ниях пусть изумителен; все ж он порою пристрастен; признаюсь: мелькнула б Италия мне, вероятно, в немецкой транскрипции; до Ренессанса еще не поднялся в то время; он—был мне далек: Рафаэль, Микель-Анджело, „Н о ч ь“, „P i e t a“ и Сибиллы еще не открылись; я к ним подходил через несколько лет, изживая Джиотто, Ван-Эйка, Меммлинга, Рожер-Ван-дер-Вейдена, Вольгемута, Грюневальда, Гольбейнов и Кранахов.

Главное: в эту эпоху не мог я спокойно отдаться культуре Италии; передо мною стояли ужасные годы мои: Петербург и Москва; нить событий, недавних в то время, похожих на сказку,—гоняла по странам; теперь: после гроба Господня и после огромного Дорнаха можем позволить себе мы роскошества: по-медитировать над Джордано, Коперником, Галилеем; тогда же—Раймонд привлекал; и—дух Данта манил; Иоанново здание медленно вызрело...

Храм же Святого Петра был мне чужд; я считаю ознакомление с той иль иною эпохой событием органическим; прошлое вовсе не прошлое; это градация верных бальзамов; нельзя принимать все лекарства: они—станут ядами; то, что во мне оживает, как прошлое, то—проницаю насквозь, вызывая в себе.

И не солнце Италии вызвал в себе, а—Тунис; стиль романский в то время был ближе мне готики; а „а м п и р“, „р е н е с с а н с“ и пятнадцатый век в ту эпоху, естественно, я ненавидел.

Мне слышались звуки огромного Вагнера; и—возникали Храмовники; так притянул Монреаль; оттолкнули—Флоренция, Рим.

Я повис в эти годы над тайной Клингзора, которого силы меня пригибали к земле; я был—Амфортас: страшная рана ждала исцеления; Грааль меня влек; и вставала в сознании сказка путей; эта сказка возникла в Москве; не поверил я ей; но она-то меня притянула впоследствии к гробу Господню; открылась нежданно мне в Брюсселе, бросила в Кельне; пригрозила позднее в Лозанне.

Об этих таинственных встречах скажу я не здесь, не теперь, а, коль будет возможность, в романе: его—сочтут вымыслом.

Москва, 1919.

6. МАЙЯ И ПРАВДА ВЕНЕЦИИ.

Быстро спешили на юг; промелькнула Венеция сном.

Но во сне есть реальность: у сказки есть правда; и если Венеция сказка, она — не иллюзия, Марк росписным блесколетом мне разъел он глаза.

В чем же правда Венеции?

В мутном струсенье каналов, где тихо плывут: чешуя, апельсинные корки и прочие отбросы; яркие пятна лоскутьев, лимонных, кровавых и синих, закинутых на веревке в туманной дали чрез канал, даже рыбные запахи—все это правда Венеции: вовсе не сон моряка, а — моряк, тихо грезящий, на корме рыболовной скрипучки о зареве цареградской мозаики; и—о прочих, восточных роскошествах; он, перепачканный рыбьими чешуями, слагает фантазию перламутров: фантазия—Марк.

Это то, чего нет, что—иллюзия.

В грязных каналах плывет всякий сор; грязноватые итальянцы с растерзанной грудью, в проломленных шляпах, загородили канал нагруженными барками; громко бранятся; кухарка из окон палаццо ведро за ведром выливает; ручей мутнопенных помой протекает на зелени слизью и блесками радужных пятен; стемнеет: вон вон протемнился, вися над водою, Мост Вздохов.

Венеция, милая!

Великолепные стекла каналов ее! Великолепные стекла Венеции; я отослал из Венеции несколько малых стекляшек в Москву; и мы были на выставке фабрики стекол. Цветное стекло издавна процветает; его производство во Франции до окончания четырнадцатого столетия редко; в Венеции выделкой стекол отмечен двенадцатый век; безконечные фабрики стекол в тринадцатом веке пестрили ее; центром выделки стекол был остров Мурано; в шестнадцатом веке пошли филигранные стекла: не мог оторваться от них я на выставке; стекла, мозаика—гордость Венеции; мозаичистами славился город в XVI веке. По Тициа

новым легким эскизам в столетии этом произвели реставрации мозаических образов Марка [1]).

Перед Сан-Марко туристы, зевая, поют по Бедекеру гимны; и Розанов то же пропел; а в каналах ругается:

— „Грязь!"

— „Ах, ах, запахи!"

— „Тряпки!"

— „Помои!"

Но здесь то и есть красота: здесь воздушны рубины заката, плывет бирюза на воде:

> „Красный парус
> В зеленых далях
> Черный стеклярус
> На темных шалях!
>
> *А. Блок.*

А Марк?

Интермедию „Пиковой Дамы" вы помните? Как Златогор, за собою влача кривобокую саблю, сложив на груди гордо руки, шагает к пастушке в сопровожденье арапов, несущих на блюде тяжелые роскоши; но неподкупна пастушка; она—с пастушком; Златогор—посрамлен: он стоит вдалеке с своим блюдом сокровищ; пастух и пастушка—Венеция; а Златогор есть Восток, в нее въехавший блюдом сокровищ, иль площадью Марка; сокровища—Марк: он стоит окончанием интермедии прошлого средь современной, средь вечной Венеции, отяжеляя ее и блистая роскошеством пятиглавого верха; внутри его—блюда, мозаики, вазы, колонки, колонны; но это не храм, а—музей.

Пред плескучим роскошеством зеленоватых канальцев, пред парусом, перед гондолой, пред цветом узорных палаццо величье Сан-Марко отходит от вечно-живой пасторали, как гордый чалмач Златогор: и—стоит золотою горой.

Мы сидели в кафе перед Марком; мы видели: голуби Марка летали; и местный фотограф снимал англичан, снисходительно

---

[1]) A. Lemaitre: Le Louvre. 2-ая часть. Стр. 230—231.

занятых созерцанием голубей... И отсюда невольно ушли: и—заплавали снова в канальцах...

Прощались с Венецией.

Тронулся поезд: вновь милая нам улыбнулась далекою россыпью белых и красных огней; проливала потоки своих бриллиантовых слез за туманною дымкою моря; и столб фосфорический месяца там раздрожался чешуями блеска.

Палермо, 1910.

7. ОТ ВЕНЕЦИИ.

До Рима пятнадцать часов.

Незаметно шло время в беседе с болтливым венецианцем новейшей формации, красноречиво признавшимся мне, что он полон избытка цветов утончения умственной жизни Италии; ночь напролет одарял меня пышным цветением болтовни: футуризм, Маринетти, история, этнография, мистика, „Leonardo" (журнал), Габриэле д'Аннунцио, Джиовани Паппини, Кардуччи, Стэкетти, история литературы, история философии, милитаризм, устремленье к Триэсту, Далмация, Австрия, Бисмарк, Вильгельм—это все осыпало меня из трескочущих уст италианца.

Меж тем—остановка: Флоренция!

Эта ли? Тут возрос ренессанс?

Тут традиции Данте, Брунетто Латини, Петрарки зажглись небывало.

Припоминается падуанский кружок: Бонаттино, Ловатто, Мусато. Петрарка зажег гуманизм ярким светом [1]): „Сонеты", „Эклоги", „Трактаты", „Канцоны" и „Письма" посыпались; „Африка"—зрела; „Сирийский Итенераций" готовился. Малый кружок „Петрарчистов" (Роберто де Баттифолле, Пьетро де Кастеллетто, магистр из Флоренции, флорентинцы Джиованни-де-

1) О Петрарке см: Campbell: Life of Petrarch. 2. Vol. London 1841. Mezière: Petrarque. 1868. Geiger: Petrarca. Leipzig. 1874. Фойгт: История раннего гуманизма. Т. I и II.

Страда и Лаппо-да-Кастильонкио вместе с Марсильи Бокаччио, с Колюччио Салютато) расширили дело Петрарки до общего дела; возник флорентийский кружок гуманистов (Марсильи, Альберти, Ландини, Франческо Фано); возникли собрание в Сан-Спирито; вскоре Козьма Медичи и Никколо-Никколи Флоренцией осветили Италию; рукописи собирались известнейшим Поджио, Филельфо, Ауриспой; и вот посещает Флоренцию старец Плетон; и Флоренция видит при ярком Лоренцо весь цвет просвещенья; Фичино, и Леонардо; и Микель-Анжело прославляют ее. После Божий монах Джироламо Савонарола [2]) являет пример величайших полетов моральной фонтазии—здесь, в этом городе, соединяя ученость со святостью, выспренний горний порыв с изумительной ясностью в понимании правовых отношений.

Флоренция!

Мимо!

Светло... Уж горы Кампаньи чертились и справа и слева—какие-то дикие; низко тащились, едва не касаясь их, синие клубы; оливки, сребрясь, просмеялись, курчавясь вон там, бледноматовым смехом; лохматились пинии; плакал источник; слезоточивые камни дичайшего, рудобурого цвета; вдруг—желтые воды: то—Тибр...

Уже—Рим, куда выпрыгнул итальянец; мне стыдно: от Рима остался мне в памяти—римский вокзал; пересадка; водопровод—старый, „римский"; и—горы; свинцовые клочья каких-то весенних, растрепанных туч,—грозовых; поезд несся к Неаполю, в окна постукивал дождик; просунул я голову—теплые капли! сидевший напротив мечтательный немец насвистывал:

— „Kennst du das Land".

Что такое?

Меж красных камней растопырились кактусы; зыбкий тростник, загибаемый ветром, кренил свои кисти и дуги; кричали на склонах цветы; размахровились розы; разъявшись пред вечером,

---

[2]) О Савонароле см. Пасквале-Виллари: Джироламо Савонарола и его время.

тучи открыли лазури; лазурь опяненно смеялась; вон там с горизонта тянулся приподнятый горб.

Как то странно: Венеция промелькнула нам сном; по Италии ехали ночью; она занавесилась кружевом ливней; ее увидал я лишь здесь—под Неаполем. Это Италия?

Всюду—высокие четырехугольники краснобоких домов, мне в глаза свои бросили звучные, красные пятна; темна и жестка была зелень; напомнили башни мне красные домики с плоскими крышами; выходящие из растрепанных кактусов, ярких, развешенных тряпок и веерных пальмовых листьев; златился из зелени плод недозрелый—и кислый; пошел—апельсин.

Под Неаполем мы; заплясали на станциях остроносые, длинноносые лица из красочной рвани:—совсем арлекины!—напоминая восток; уже слышное явно дыхание Африки опаляло С и р о к к о дичавшие лица; склоненья от средней Италии к югу—стремительны, круты; стремительно, круто здесь почва Европы срывается в пропасти... Африки; землетрясение ощущаешь ты здесь; ощущаешь разрывы земли; ощущаешь недобрые импульсы темных клингзоровых ратей; есть где-то предание, будто Клингзор из Калабрии направлял злые чары на рыцарей Грааля; здесь царство бандитов; здесь действует м а ф ф и я; калабрские женщины и доныне свершают священные танцы свои; здесь в душевных пространствах кусакт тарантулы нас; яд укуса в нас действует, как... т а р а н т е л л а.

Это все вспоминал я невольно, несясь под Неаполем,—в поезде; жадно я впитывал: глазом—обилие крючковатых носов, пестроцветное рубище, арлекинаду из жестов; и ухом—трескучие, бубенцовые возгласы.

Среди всей пестроты своих красок в густеющей зелени апельсиновых рощ развивал обитатель Неаполя в ряде годин приворотное око: з л о й г л а з; научился он глазить.

Вон—он: из за облака встал синеватый Везувий; кругом продолжали мелькать: апельсины, агавы и пальмы; и—продолжали мелькать: краснобокие домики; продолжали кричать: крутоносые

лица, махая лохмотьями; набежало тяжелое облако: зарокотало— декабрьской грозою!

Так встретил Везувий.

Палермо, 1910.

8. МГНОВЕННАЯ МЫСЛЬ.

Неподалеку отсюда—остатки Помпеи: в одну роковую, ужасную ночь здесь погибли безвинные тысячи душ. Плиний младший описывает событие это:

„В девятый день сентябрьских календ, в семь часов вечера моя мать мне сказала, что в небе показалося облако необыкновенной величины и формы... Затем с неба стал падать пепел и обуглившиеся камни... Дно морское внезапно поднялось, и вода ушла далеко от берегов... Вскоре из разселин Везувия показались широкие потоки пламени, поднимались высоко огненные столбы, и стали раздаваться подземные удары... Ночью землетрясение усилилось так, что все вещи, казалось, не только двигались, но и рушились... Был уже первый час дня, но день еще не начинался... Дома рушились и все жители спешили покинуть город... Тьма продолжалв окутывать местность, но тьма была не такая, какая бывает в облачную, безлунную ночь, а как если бы в закрытом помещении был потушен всякий свет. В той тьме слышался вой женщин, плач детей и крик мужчин... Многие простирали руки к богам, другие же богохульствовали и считали, что ночь наступила навсегда... Наконец тьма стала проходить... Настал день, и даже показалось солнце, но оно было, как бы лишенное света,—такое, каким оно кажется людям, падающим в обморок“...

До конца семнадцатого столетия оставалась сокрытой Помпея; в восемнадцатом веке установили ученые место Помпеи; с средины же девятнадцатого столетия были предприняты грандиозные изыскания и раскопки, раскопаны ныне: Морские Во-

рота, ведущие в город, центр города; форум, обложенный мрамором, базилика, Неронова арка, и т. д.

Воспоминаниям о Помпее отдался перед Неаполем я.

Палермо, 910.

9. НЕАПОЛЬ.

Вот что Гёте писал о Неаполе:

„Что бы ни говорили, ни рассказывали, ни рисовали—действительность представляет больше всего этого! Что за берега, бухты, заливы, предместье, замки, увеселительные места!.. Я простил всем, кто сходит с ума по Неаполе... Я... совершенно притих и только широко, широко открываю глаза, когда что-нибудь покажется мне слишком необыкновенным..." [1])

Яков Петрович Полонский, живописуя окрестности и побережье залива, воскликнул:

„Тень Тасса плачет о любви"...

Я не то воспринял:

Гёте, может быть, прав; но для этого надо глубоко проникнуться духом местности; первое впечатленье—не то; но оно открывает не ложь; увидавши лицо, безобразно покрытое сыпью ведь можно подчас не приметить, что обладатель его есть фигура; в интимной беседе с ним можно забыть его сыпь, но экзема—болезнь.

Может быть, впечатленье Неаполя мне не открыло действительной жизни его; но тем явственней бросилась мне на Неаполе—сыпь; эта сыпь—яркость красок: неугомонная яркость, не яркость здоровья, а яркость болезни: в губительном жаре пылают румянцами щеки больного; я видел:—пылание краснобоких домов: в пыле солнца; и—знойный восточный ландшафт, золотыми клинками лучей разрезает глаза; да, Неаполь вошел в мою душу, как острый кинжал негодяя в лохмотьях.

---

[1]) „Путешествие по Италии".

Как будто в симфонию скрипок на огненном вечере вы бухнул звук барабана: кровавым и плящущим, горбоносым паяцем.

В пятнадцатый век зацветал гуманизмом Неаполь; Альфонс Аррагонский будил увлечение древностью: чтеньем сонетов Петрарки; здесь импульс античнаго мира вливался Антонио Панормиттом, Бартоломео (историками); неаполитанская молодежь посылалась в Париж; а пышнейшие празднества ширились гулом; в 1443 году был торжественный въезд чрез пробитую стену Альфонса – в Неаполь [1]): король возседал в золотой колеснице; четыре коня белизною играли на солнце, а всадники потрясали тяжелыми копьями;—двигалась башня, которую охранял грозный ангел с мечом, проходил Юлий Цезарь...

Характеризуя Альфонса, не раз отмечает: великодушие, искренность, кротость его; но отравленный воздух сказался в наследниках: мрачный Ферранте жесток был: злопамятный, лицемер, убивая врагов, бальзамировал он их тела, собирая коллекции мумий; Альфонс Калабрийский—о нем говорит современник его, как о „самом... жестоком, порочном и низком“ создании [2]); почва Неаполя — тонкая корочка, прикрывающая вулканический взрыв неизжитых дичайших страстей; и—глухих суеверий; азартныя игры, вендетта (кровавая месть) здесь свивают гнездо; и тарантулы, прыгая в души сельчан; их кусают; порок выветвляет в Неаполе мощное древо свое; временами умами овладевает анархия (как в момент перехода династии аррагонской к французской); в Неаполе страшный разбойник укрыл злодеянье под кровом стены монастырской; и одеяние инока защищало его от закона; не каялись даже в священных безумиях; нам и утверждает Понтано: в Неаполе жизнь человека и смерть продаются с такою же легкостью, как пустейшие безделушки; яд—действует; плевелы суеверий цветут; поражает кинжал. И колдовством опаляют преданье об córнованье Неаполя;

---

[1]) Ant. Panormitanus: Dicta et facta Alfonsi. Сюда же: Alfonsol. und Ferran·gel. („Das Zeitalter der Renaissance“. Jena. M. C. M. X. II).

[2]) Яков Буркгардт.

Буркгардт гласит, что „Виргилий, как основатель неаполинских стен, представляет собою не что иное, как воплощенье жреца, присутствовавшего некогда со своими заклинаниями при закладке этих стен. Народная фантазия... приписала Виргилию также железного коня... на ноланских воротах... [1]) Зарытая крыса—защита от крыс; джеттатура здесь действует; вьется рассказ о явленье таинственеых рыб; эта местность подвержена действию злого начала, которое по преданию средних веков—где то в скалах, на юге Калабрии, распространяет яд похотей и магических сил на Сицилию и Неаполь; Клингзор соединяется с Герцогом Терра-де-Лабур („Терра-де-Лабур“—калабрийская местность); силы Герцога, перелетают по воздуху к замку Калот-Бобот (он—в Сицилии).

Поволждением, действием италианского юга, овеян Неаполь.

Палермо, 1910.

10. ПАЯЦ

Этот город остался в моем впечатлении пестрым, у моря залегшим шутом, положившим Везувий, свой нос, на брега: в голубое плескание; красочность неаполинской природы есть действие колдовских порошков; и зловещая сыпь—яркокрасные пятна домов; мне слова Мопасана близки; обитатели города—арлекины какие то.

Помню: прилип Арлекин к нам, с женой; и—мы, убегая от жалких его приставаний быть гидом, попали в пролетку; он прыгнул за нами в пролетку; таскал нас по городу, заставлял покупать безделушки, кричал, вонял луком, тащил нас куда то; и—шепотом предлагал мне увидеть какие-то непристойные танцы; нос, черные глазки его, заострялись и злели при этом; я вспомнил невольно рассказ о знакомом; за ним в переулках пристал оборванец; и предлагал ему... гадости; долго он гнался и кричал в убегавшую спину:

---

[1]) „Культура Италии“.

— „Я вас проведу к милой даме"...

Молчанье.

— „К молоденькой девушке".

Снова—молчанье.

— „К маленькой девочке"...

— „К мальчику!"

— „К клирику!"

— „К козочке!"

Комментарии вовсе излишни: таков современный Неаполь. Остался мне в памяти мороком; он и Венеция — дикий контраст! Нежноокая, в кружевах из тумана—сестра, и—Паяц, отбивающий Тарантеллу; хозяйка и—пахнущий луком разбойник, погнавшийся в глушь переулков.

Палаццо; и—горб распираемый лавою, пышнопокрытый кудрявым лимонником, зыбь колоритов, и чувственность очертаний каких-то арабских построек.

Венеция—благородна: Неаполь—Клингзор.

Палермо, 1910.

11. ПАРОХОД.

Пароход уже тронулся: тысячи береговых огонечков блистали в тумане на улетающем береге; сбоку угрозою несся дымивший Везувий, казалось, что что-то блистало порой над вершиной его; может быть, это—молнии; может быть,—зарева кратера; вот,—отошел: перестало поблескивать, а пароход начинало качать; гребни волн, черносиних, вскипали едва бирюзеющей пеной; и нас обдавали, а губы горчали, вон—Капри!

Горбатый такой,—он прошел, на луне, как дракон, положивший железные крылья и севший, как утка, на воды—пить воды; спиной приподнялся,—ушел.

Уже черные тени людей—нагибались за борт под влияньем болезни: и—нет: пересилил болезнь.

Утро было из черного, черносинего, переходящего в прозелень лабрадора; живела волна: побежать бы по ней.

Подымалося солнце.

Откуда-то свысока вдруг упала земля, опускаяся в море; Сицилия,—или страна одноглазых циклопов, гигантов, страна Эмпедокла и Пифагора,—охватывала нас горбатыми землями справа и слева; Палермо, иль родина Калиостро, Розалии: вот она!

Палермо, 1910.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Палермо.

12 ЗОЛОТАЯ РАКОВИНА.

Надолго мне врезались виды Палермо, какими вставали из моря они.

Четко резкие легкие контуры в небо протянутых гор; желтокрасные ребра их в матовой зелени кактусов, темные впадины, и пыльные сини меж ребер, бегущие снизу курчавости зелени апельсинов, магнолий, и выше их—темная сухость изогнутых кипарисовых метел; деревья взбегали, как войско, берущее приступом голые гребни; но голые гребни, стряхнувши леса, уходили в лазурь на своих крутизнах; и рои апельсинников, затолпясь вкруг Палермо, курчаво спадая уступами, образовали ступенчатый амфитеатр, золотеющий в зелени там — недозрелым лимоном, краснеющий здесь—апельсинами.

Между горами и бухтою, обступая Палермо, верст на десять благоухают сады: сарацинские замки когда-то торчали здесь в зелени, образовали на шее „красавицы" (города) драгоценной ожерелье из перлов.

Кричат из Палермо цвета: желтый, ржавый и красный; желтеют кривые заборы из старого камня; и жесткие лопасти пальмы над ними танцуют в танцующем ветре; и—отражаются в бухте, где тихо дробится широкий разбег лабрадорного цвета волны в мириады сквозных бисеринок и в негу сквозных бирюзовинок, над

которыми нежатся красные воздуха блеска и над которыми с берега теплятся розы из воздуха.

„Раковина золотая"—названье Палермо—меня поманила к себе, точно розовым благоуханием пурпуров; „Отель-Пальм", уж описанный Мопасаном [1]), нас принял под сени стеклянных веранд, сикомор, рододендров; огромными кактусами отделил от хорошенькой улички; в тихих качалках, в саду, отдыхая с дороги блаженно отдались струениям розовых воздухов, солнцу и тихой веселости, улыбаясь друг другу; как дети, мы бегали средь лиан, среди клеток, в которых на нас стрекотали живые мартышки, бросаясь в объятье протянутой легкой соломенной мебели, чинно сидя друг пред другом средь легоньких столиков, расцвеченных цветочками, слушая струнные звуки немых мандолин, изрыдавшихся страстью, и отдаваяся световетряной беготне сквознячков, осыпающих сверху нас стайками солнечных зайчиков.

— „Посмотри", говорила жена; и—я видел, как дымом вершинок плясал тонкостеблий тростник, овеваемый солнышком, со столбом комаринок, плясавших высоко над ним.

— „Посмотри", говорил я жене; и—мы видели, как соцветия кактусов строили прихотливые дуги.

„Отель-Пальм" улыбнулся, нас встретивши непринужденною грацией двух голубых старичков, двух хорошеньких комнаток, выходящих огромными окнами в лапчатость листьев и в ствольчатость зеленокудрой дорожки, через которую змеями переползали повсюду, узлясь, изгибаясь, лианы,—нас встретивши роем изящнейших фрачников, жгучих красавцев лакеев, градацией переходящих друг в друга веранд, теневых, полуоткрытых, открытых, сквозных, несквозных, встретив мрамором ванн, предлагающих нежить усталые члены и милым хозяином, мосье Рагузой, которому Мопасан рассыпает в своем сочинении лестные комплименты; изящный старик, седоусый, но бодрый, себя называющий энтомологом, доминирует здесь надо всем: руководит знакомствами, сопровождает на тихих дорожках, и предлагает ввести вас в палермскую злободневную жизнь:

[1]) См. его „Vie errante".

— „Mer B***, не хотите ли в клуб?“
— „Я могу вас ввести в круг палермских спортсмэнов“.
— „Что-что?“
— „У вас, может быть, мало рессурсов?“
— „Но я вас ссужу“...
— „Ожидаете вы перевода?“
— „А сколько пришлют вам?“
— „Но знаете что: вы отдайте ка мне на хранение деньги“...
— „Здесь вас обворуют легко“...
— „В моей кассе сохраннее“...
— „Что?“
— „Вам пришлют только тысячу?“
— „Но это мало?“
— „Я собственно говоря, не отельщик“...
— „Да, да“...
— „Энтомолог я“...
— „Почитайте-ка „Vie errante Мопасана“,
— „Упоминает он там обо мне“...
— „У меня здесь когда-то жил Вагнер“...
— „Оканчивал своего „Парсиваля“...
— „Но не сошлись мы характером“.
— „Он переехал“.
— „А в комнатах Вагнера, помнится, поселился ваш князь Константин Константинович“...

Помню: так нас ослепил наш хозяин, едва мы ступили под сень его тихих веранд; и прося нас считать своим другом, повел нас, болтая, обедать в цветущую комнату, показавши цветущий веселенький столик, где на тоненьких стебелечках над вазочкой весело прыгали ирисы, легкий нарцисс и жонкили,—в декабрьское солнышко,

Думаю, что источник любезности седоусого сицилийского энтомолога (о, не отельщика вовсе) был в том, что я—русский писатель, имеющий отношенье к газетам, могу описать отель „Пальм“; и—привлечь к нему русских туристов; я был умилен, очарован: нам нужен был отдых; непринужденная ласковость к

нам, ощущенье, что мы здесь, как дома, меня заставляла оплачивать неимоверно большие счета; бюджет месяца превратился в недельный бюджет.

Окружали нас люди, которые, в сущности говоря, извлекли из нас все, что имели мы,—но извлекли с таким видом, как будто они нам оказывают непринужденное гостеприимство, что деньги есть вздор: сон, иллюзия; что отношение человека к подобным себе не основано вовсе на материальном рассчете, что Вагнер охотно оплачивал многотысячный счет.

А солнышко веяло; нежная сицилийская флора слегка лепетала; и—цокали в клетках мартышки; и—веяли в вазочках ирисы нежность к цветам, к ветерочкам и к звуку глухих мандолин бессознательно мы с женой перенесли в первый день: на голубых старичков, на лакеев, на стены и на... „энтомолога".

Монреаль, 1910.

13. РАЙСКИЙ САДИК.

Помню: народом галдящую гавань; и—тонкий строй мачт; помню улицы желтоватого города; голубая каретка отеля бежала по уличке; перед нами с вещами сидел старичок, облеченный во все голубое, и улыбался нам—носом, глазами, усами, „мундирчиком", кэпкою и огромнейшей бляхой („portier"); поворачивал скозел на нас это все, нам подмигивал; и—улыбался своей голубою спиною в лазоревый воздух; казалось, что легкие вёсны нам веяли тяжковонными гроздьями, опадая на стены и улички и бросая на стены и улицы синие тени; сияло, как в мае: желтело и рдело из всех переулков—над криво бегущими стенами; там, вдалеке, открывались морские пролеты; а там—зеленели высоты, бросая, как искры, сквозь зелень далекие точки своих апельсинов; лиловые, рдяные, желтые бабочки,—в солнце летали цветочки, танцуя на тонких стеблях.

Вот—приехали: безукоризненно чистое здание распахнуло антрэ; голобой старичок спрыгнул с козел; на встречу ему, из

антрэ, вышел точно такой же, как он—голубой старичок; и с глубоким достоинством кланялся, уводя нас под пальмы; и два старичка показалися нам, отражающими друг друга: кто подлинный, кто отраженный? Два брата здесь видно служили года; старички, ставши справа и слева от нас, повели; открывали тишайшие двери; ряд комнаток, как улыбки, мелькнул; мы из них себе выбрали—две: две „улыбки“, и, улыбнувшись друг другу, с улыбкою мы расписалися перед улыбкой лакея, почти еще мальчика; тотчас же мы очутились в саду среди цветиков, листиков, листьев и пальмовых лап, раздвигали тончайшее кружево зелени—„ах!“ — ослепительный солнечный заяц выскакивал, падая животечным теплом и сияющим светом; на свете летала большая цветистая бабочка; кружево падало: солнечный заяц упрыгивал; оранжерейные тени, как женщины в темных покровах, бросались со всех четырех сторон—быстро: на нас!

Забавляла цветочная пляска и рдяности неугомонных каскадов цветов, и веселенькие витиеватости маленьких кругобегущих дорожек в малюсеньком в сущности садике нам казавшемся джунглями по сравнению с северной, бедной природой; здесь малый комок этой почвы космато тянулся и ширился пестротой стебельков, колючек, коронок и радугой венчиков; малый аршин мог казаться квадратною саженью; уголочек казаться мог садом, а садик—древесными дебрями; вот—поворотец; и—нет ничего, что за нами; качается многоцветие лишь; впереди—ничего: многоцветие; между двух многоцветий,—как в дебрях; раздвинули—поворотец опять: повернули—и очутилися перед прыжком прирученной пушистой мартышки на нас—из ветвей:

— „Ай!“

Мартышка упала на жерди железные клетки, обвитые зеленью.

Дальше—опять ничего: лишь цветение; но сквозь них просквозили: витиеватости толстых лиан и спиральки уютнейших тропочек; на одной из них—белая барышня: на скамеечке—с книгой! Над нею—стеклянные стены веранды; откуда то—звуки знакомого вальса.

Бессонная ночь, пароходная качка, позывы недуга морского, усталость, Неаполь и холод—бесследно забыты: забыта Венеция; за Венецией—прошлое отвалилось: навеки!

— „Смотри, какой яркий цветок!"

— „А какая там бабочка!"

— „Вместо берез—рододендры"...

— „Ай, ай!"

— „Что?"

— „Комар здесь кусается"...

— „Комары в декабре!.."

Из цветов и из бабочек в мыслях сплели мы гирлянду и ей занавесил я прошлое: страшное, тёмное, жуткое,—неразрешенное прошлое, над которым недавно томительно светились в мерзлой и темной Москве, перед нами обманно расставившей стены „редакций", всосавшей в нутро свое нас, как удав бедных птиц, галдежом заседений, зажарившей просто меня и подававшей на блюде безвольный двойник мой в рагу из писателей, изготовляемых в эстетических кухнях новейшей Москвы; эта праздная, суетливая жизнь показалась отсюда капканом; какой-то ловец нас ловил темным мороком. Неразрешенное прошлое выгнало нас из Москвы; от него занавесились мы пестроцветным Палермо (оно—разрешилось позднее); я дважды бежал из Москвы!

Здесь, в садике, перед клеткой пушистой мартышки застиг нас—хозяин отеля Рагуза:

— „Позвольте представиться!"

Я не мог успокоиться: под предлогом послать телеграмму и под предлогом купить горсть цветов спешно ринулись мы в давку улиц.

Монреаль, 1910.

14. ПАЛЕРМО.

Палермо!

Смесь стилей, бесстильность, как будто бы даже безвкусица, наконец даже стиль той безвкусицы, выдержанный до конца,

строгий стиль пестроты—все то бросилось сразу на нас: рыже-красной стеной мавританского будто бы „Teatro Massimo", желтком бледных стен, никаковскою площадью и „чорт возьми какой" аркою, узкою „Via Macqueda", скучнеющей обыкновенного „никаковской" шеренгой домов, животеком пролеток, сквозным оперением дам, и скучнеющим смокингом мясоносого грубиана-мужчины, вперившего в декольтэ свою черную пуговку глаза, но снявшего деликатно пред оскорбляемой дамою котелок облеченной в перчатку рукою—мужчины, губами сосущего трость, проходящего опереточным посвистом из толкотни троттуара; поглядишь на палермского франта, и думаешь:

— „Ей, ты, туземец!"

— „Зачем ты надел котелок, променяв на тюрбан!"

Здесь—мужчины для вида напялили европейское платье: „араб" выпирает из них, „сарацин" в них таится; но—силится котелком он прикрыть свое славное прошлое, создавая бесстилицу из смешения почв: почвы Африки с почвой Европы; сотрясся состав человека в Сицилии; почвы трясутся доселе; толчки под землей очень часты; Сицилия—место катастрофы, кощунства и смесительства: родина Калиостро она!

Землетрясение здесь очень часто; в эпоху недавней мессинской катастрофы здесь, в Италии, на протяженье короткого срока сейсмограф отметил: до тысячи колебаний земли... Перемещению масс в земной почве вполне отвечает перемещенье, смещение бытов.

„Араб" отложился во всем; в восьмом веке он грабил Сицилию; после в ней зажил, любил ее; прогнанный, он тосковал по Сицилии; в ней он оставил свою африканскую душу; с ней сжился; и с ним сжились жители; он появлялся потом: погрустить о Сицилии; просвещал ее быт; и норманны, его изгонявшие, перенимали культуру его; и его призывал Гогенштауфен.

В девятом столетье арабы себе покорили Палермо, развивши промышленность и насаждая искусства; когда появились норманны,—арабы бежали: в Испанию, в Африку; и арабский поэт Ибн-Хамдис, вспоминает свою дорогую Сицилию в плачущих

строчках; она ему—родина, рай; он—Адам, отрешенный от рая [1]); творили культуру Сицилии здесь арабские вольнодумцы-философы; создавались напевы и песни; доселе стиль песен сельчан под Палермо—арабский, тягучий и медленный; строчки свои прибирал Ибн-Хамдис; Ибн-Зафар написал здесь, в Сицилии, тонкие повести; по завоевании острова многие из арабов осталися жить и влиять на норманнов,отдавшись по прежнему литературе своей; а норманны, владетели острова, принимали от них дар культуры, чеканили долго монеты с арабскими знаками, строили здания мавританского стиля; доселе в постройках норманнов встречают: арабские дуги.

Здесь Фридрих второй, Гогенштауфен, собирает чудесные перлы арабской культуры; ему Ибн-Саби составляет ответ на вопросы, им присланные для Сеутских ученых; Манфреду в Палермо был послан с Востока Джемаледдин Ибн-Салим; он составил в Палермо курс логики для просвещеннаго короля-мецената [2]), арабы любили Сицилию; и поэты их славили з о л о т о е Палермо: "О, что за роскошь на этом острове. Как рдеет здесь апельсин, каким огнем сверкает он... А вон там бледнеет лимон, точно снедаемый грустью любовник... А две пальмы, что стоят там на высоте?.. О, пальмы палермского берега, пусть благое небо всегда орошает вас теплыми дождями, кроткими ливнями!.."

Так пышно поет о Палермо арабский поэт [3]).

В пестроте, в ярком крике цветов, в ярком воздухе красок горит здесь Тунисия, облеченная лишь для виду в сереющий смокинг; здесь в первый же день мне из воздуха, криков, цветов и из перьев возник меня звавший „а р а б": он потом перевез нас в Тунисию...

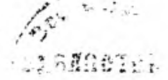
Среди силящейся походить на Европу Сицилии, улица вдруг разрывается криком ярчайших лоскутьев тележечки, запряженной малюсеньким осликом; и—бум-бум-бум: начинается балаган

---

[1]) А. Крымский: „История арабов и арабской литературы", I часть, стр. 54. Ad. von Schack: „Poesie und Kunst der Araber in Spanien und Sicilien".

[2]) „История арабов и арабской культуры", I ч., стр. 156—157.

[3]) Каррьер: „Искусство в связи с общим развитием. Арабы в Сицилии".



среди „Via Macqueda“; резная тележечка с изображеньем драконов и ангелов пестро раскрашена красными, желтыми и голубыми цветами; изображаются на боках ее рыцари, войны, какое-то чудо и даже—распятый Христос; упряж ослика—красная; с миниатюрной стены его высится ярко-горящий султан с преогромным помпоном; старушка, коричнево-темная,—нос колбасой!—перекрючилась там, вся—в лимонных лоскутьях; тележечка—из подпалермской деревни; старушка, как видно, приехала в город: гулять; может быть, она—мать дэнди в шляпе, в перчатках, спующего в модном пассаже, который стреляется в дом—двумя черными пуговицами.

Погремушкой, хлопушкой гремит среди улиц тележка; старушка в лимонных лоскутьях уставила „нос колбасой“ из нее на дома, разрывая „бесстильность“ в пленительный стиль „orientale“; ослик—шуточный карлик!—мотает ушами; мы—в диком восторге; палермец идет, поджав губы, не глядя на ослика: он стыдится, быть может, себя, своей старенькой матери—из-под палермской деревни; наверное, как обыватель, он—глуп; и наверное он предпочтет никаковский стиль „Via Macqueda“—арабскому трепету собственной крови.

Мы свернули в извилины улиц: толпа „посерела“—сказали бы в Москве; „просияла цветами“—сказать надо здесь: среди смокингов, шляп и вуалей, как пятна, вот-вот проступали какие-то бритые существа—вот-вот крадутся!—обмотавши платками себе жиловатую шею, в плащах; то—попавшие в город из гор монреальцы: в них—что-то испанское! Площадь: „Palazzo Reale“ на ней—это крепость арабов; потом превратили в дворец ее.

Грозно расставилась церковь Розалии, или вернее собор; он—смешение церкви с мечетью: зубчатые стены внизу; и над ними возвышено тело собора; зубчатится краем оно; над ним—купол; справа—причудливы колоколенки-башенки; и они—ниже купола.

Дочь барона, Розалия, уходила в пустыню, откуда ее перенес добрый ангел на Monte Pellegrino: над городом; здесь святая Розалия тихо скончалась; то было—в двенадцатом веке; она—охра-

няет Палермо; в июле ее пышно чествуют здесь; колесница везет ее статую; певчие хоры идут вслед за ней; оркестр музыки— то же: бесстилица!

Но в бесстилице этой — суть стиля Палермо: и пальмы, и небо, и море, и гущи цветов омягчают тот стиль, представляющий, соединение крайностей; ночью я видел зарницы над купами пальм—в декабре! Пестроцветные горные камни кричат вбархатеющей и мягко пестреющей зелени; а яркий „араб“ облечен в серый смокинг: смесь стилей, бесстильность, как будто бы даже бесвкусица,—стиль той бесвкусицы—все это въелось в глаза.

Пробежав по Палермо и бросивши беглые взгляды на все, возвратились в отель.

Здесь, в столовой, столовые мальчики в туго затянутых фраках скользили бесшумно с огромными блюдами, нам предлагая то мясо, то рыбу, то зелень, то тесто, то... Бог знает что; со стеклянной веранды смеялся усатый Рагуза с гостями; и кто-то руладами завивал на рояли спираль завивающих вальсов; за сладким палермским вином говорили с женой мы о том, что Неаполь предстал перед нами, как злой арлекин, пожирающий путников злыми глазами—из красных лоскутьев; единственный неаполитанец, с которым имел дело я, вонял луком: как знать,— уж не фосфором ли (фосфор пахнет, как лук), может быть— это запах Везувия?

Мы говорили друг другу: Палермо, как кажется, шут: шут гороховый: пестрый не злой; кивает из тряпок беззлобно нам лик его,—чудаковатый, простой, придурковатый, пожалуй, но вовсе не глазящий; запаха лука не слышно: не огнедышащим фосфором, а воздушными красками он трепыхается: гущей цветов из-за каменно-желтых заборов.

Оглядывались на роскошный обеденный стол, на скользящих красавцев лакеев, писавших восьмерки меж шлейфами перетянутых дам и поливавших из соусника—нет, не шлейфы—тарелки; огромное блюдо внезапно в нас врезалось—о, которое блюдо! Рагуза за столиком угощал дорогими какими-то винами барышен с их уродливой матерью и рассказывал, приподнявши плечо

и две брови, как он проигрался однажды в Монако—со всяким туристом случается нечто подобное: нет, он, Рагуза, не скряга; из затруднения выведет всякого он—да, да, да: я приглядывался к седоусому энтомологу, другу великих людей и великих князей; мне казалось, что рот, обрамленный усами сочится не словом, а воздухом тонких духов; благоухает словами, улыбками, жестами, кончиком белого уса, бровями; и—атмосферой своей кружит голову; странно вот что: благоухание раздражает мне нос; от бесед с нашим милым хозяином получал я лишь насморки: насморк преследовал долго меня в Монреале:

Окончен обед: переходим мы в тени веранд, обжигая рот кофе (о, кофе—графа изумившая в счете отеля меня при расплате: опустошили карманы мои эти малые чашечки кофе!) Вот: кружатся в вальсе две белые барышни; милый хозяин подсел теперь к нам:

— „Мопасан—о, да-да!—странный был человек: посмотрите-ка; вот „Vie errante“. Вот автограф.

Читаю:

— „Какая любезная надпись!“

— „О, да: мы же сним“—и наклоняясь ко мне, начинает нашептывать мне неприличное что-то такое Рагуза: увидевши, что эффект его слов пропадает, не действует,—переходит он к Вагнеру:

— „Вообразите—однажды сказал Вагнер мне, будто он видел сон: шторы комнаты перевешены поперек его комнат: „Нельзя ли их так перевесить?“—Ему говорю: „Мосье Вагнер,—как знаете, но берите последствия; потолки могут треснуть“... Он странный был, Вагнер; любил он шампанское—и по вечерам, эдак, знаете, он выпивал... Переходили счета его за шесть тысяч в один только месяц; прожил несколько месяцев—здесь; вдруг, затеявши ссору со мной, переехал; однажды, когда ему подали счет, по которому должен был мне он шесть тысяч и триста, какие-то триста там франков, поверите ли, — отказался платить. Говорю ему—только из принципа: „Может быть, так это в вашем Байрете, но не—в Палермо. В Палермо все платят“.

— „Ну что ж?“

— „Уплатил, но прислал мне сказать, что он завтра же переезжает; в счет же просит он выставить ванну, которую, будто бы, я позабыл: и—неправда! Мне, знаете ли, до капризов нет дела. Ему говорю: „хорошо: ванну ставлю я в счет“. Тут меня извещают: великий ваш князь, Константин Константинович, приезжает—на собственной яхте; и спрашивает, нет ли здесь, у меня, помещения.—„Есть“, отвечаю; и комнаты Вагнера—отдаю:

— „Что же Вагнер?“

— „Он вышел в переднюю, уезжая, и говорит мне: „Недурно устроились вы, мосье Рагуза, с моим помещением; не попросили б теперь вы меня оставаться?“—„Для вас“,—говорю я,—„маэстро, всегда помещение есть. Он повертывается от меня; и говорит иронически, обращаясь к супруге: „Maman (так ее называл он),—ты слышишь: здесь нас приглашают задаром остаться“... Сказал на прощанье мне Вагнер: „мосье Рагуза мы, все-таки, расстаемся друзьями“.

Так сыплет словами любезный хозяин:

— „А можно ли осмотреть помещение Вагнера?“

— „О, с большим удовольствием: прикажу открыть комнаты“...

Появляются два голубых старичка: нас ведут коридорами,—дверь отворяется: комнаты Вагнера—вот; великолепно убранство их—тяжеловатое; здесь есть портрет: на нем подпись „маестро“. О комнатах этих писал Мопасан, что во время его посещения комнат тяжелые стенки тяжелого шкафа благоухали эссенцией роз; эссенцию разливает вокруг Вагнер; и ей пропиталося дерево полок.

Уж вечер: наш первый в Палермо; мелодия вальсов кидает в открытые окна двух маленьких комнат, уютных и пестрых, как все, озаренную лунным сиянием лунную роскошь косматых деревьев; и—множество лапчатых рук поднялось — чуть трепещет, сребрея; одни мы...

Монреаль, 1910.

15. СТИХИИ.

И в синей одежде, напоминающей вовсе не платье, а странный хитон, задымив папироской,—жена моя, Ася, сидит на окошке, распахнутом настежь: в декабрьскую ночь; половина лица ее лунная; а другая—озарена белым блеском сверкающей электрической лампочки, озаряющей пестрядь из кресел, диванов и стен; бледно-лунное золото переливается в белые блески; жена моя—точно „шанжан": в световых переливах; в душе моей—то же: сплошной световой перелив, соединенье, сплетенье—отчетливой строгости, долгих исканий, мучение и заострение мыслей („как жить?") с легкомысленной пестрядью хохотов рококо и барокко, звучащих весь день вокруг нас.

Предо мною на столике чай, пирожки, апельсины, цветы; я смотрю на жену и зову ее к чаю; она повернула лицо, устремленное в ночь; и зажмурилась в блеске, закрыв его—улыбалась, как солнышко, детскою радостью.

Вот мы—смеемся: пьем чай; и—закусываем сладким тортом; болтаем; наверное в нас говорят эти красные пятна, которые город нам бросал; наверное в нас говорит перекрик разговорчивых улиц; и ясности солнечных запахов, прелых, морских, здесь носимых живым ветерком, обвевавшим нас в садике; яркие бабочки неожиданных шуток расправили крылья в душе, отрясая московскую пыль; они—смяты решением „всяких вопросов": опять появляется длинный листок обязательств, мной данных редакции; Ася его закрутила пред носом моим:

— „За работу!"

— „Пора: за работу!"

А у меня есть желание: бросить в камин этот лист; камин фыркает, пересыпаяся искрами; он горит,—для уюта; а ждет меня—ванна; да, я поглупел: безответности жизни розъялись; или, вернее, они превратились в сплошную крикливую завесь

цветов, криков, запахов; мы завернулись в нее; и за чаем „болтаем“: не углубляем вопросов и не вперяемся в „бездны“; в душе—негасимые просветни красной зари; вдалеке—чей-то голос; и звуки глухой мандолины; усталое тело мое дышит бодрою стойкостью.

Сгинул московский квадрат: стая стран, точно стая причудливых сиринов, распевает нам песни.

Мы встретились с Асей давно; я увидел ее в одном доме; она, еще девочка, как картинка сидела, обвисши кудрями; и молча меня проницали два глаза ее: проницали упорную думу исканий моих; в ней знакомые видели разве что фреску Джиотто; иль, пожалуй, головку Росетти, — не более; я увидел — тогда еще в ней: чуть заметную полуулыбку ее; вы встречаете на египетских статуях: это улыбка души, увидавшей сквозь порок загадку вещающих сфинксов; с загадкою этою подошла Ася к мукам моим, когда, свесившись в темный колодезь, терял я надежду; она—тоже свесилась; вместе, склонясь над колодцем, увидели мы: странный лик.

Наша встреча связалась во мне с той картиной Берн-Джонса, в которой живописуется, как два лика, мужчины и девушки, наклонясь над колодцем, не видят себя, а „лик ужаса“, возникающий из дерев над склоненными ими; картина же носит название: „Лик ужаса“.

Нам встреча сказалася пересеченьем путей к одной цели; и как разрешить ее, как дальше жить?

Соединила не радость: вопрос—тот единый, который стоит перед каждым:

— „Как жить?“

Да,—и помню Волынь, где гостил у невесты я: помню я дерево, на котором, взобравшись, качалась жена, точно легкая птица, сверкая на солнышке локоном; я—под ней на суку: разговор наш есть чтение книги вселенной; часами сидели на дереве мы: поднимались пред нами зовущие, невероятные образы: взоры, которыми проницала меня моя Ася, гласили как бы: свиток истин, развернутый в странах и душах людей—чертит знаки:

прочти эти знаки; для этого должно уметь пробираться по кратерам жизни, уметь низвергаться в огонь, как низвергся туда Эмпедокл, соединившийся со стихиями мира.

— „Ты этого хочешь?“

И я отвечал:

— „Да, хочу!“

— „Так отправимся в путь!“

Так задумали с Асей наш путь мы в Волыни, на дереве: летом.

А осенью, охвативши, Москва нас томила три месяца: выбарахтываясь, мы теряли надежду; ряды испытаний и терний меня стерегли; но мы—вырвались: прошлое отлетело. Теперь мы остались вдвоем решать страшный вопрос, как нам быть, как нам жить.

Мы его разрешаем, как можем: но первые месяцы путешествия припоминаются, точно сказка; нас вихри цветов, лепестков и улыбок носили по странам; неделями переживали чистейшие радости мы, собирая в душе мед глазных впечатлений, которые непосредственной данностью окружили нас, вырвав из всех предрассудков, систем, правил жизни; и мы в этом хаосе цветени образовали: действительность жизни.

И вот мы—в стране Эмпедокла: соединяемся со стихиями.

Мир вулканической лавой вскипел нам в Сицилии; прокипела душа, протекая в тот мир.

Этот первый, палермский наш вечер, есть первый наш вечер, когда осознали мы явственно: два пути есть один. И я помню декабрьскую ночь, мандолину, влетающий воздух в окошко и Асю, склоненную в ночь,—за окошко; она повернулась ко мне, закрыв личико ручкой; и вдруг улыбнулась, как солнышко.

Монреаль, 1910.

16. MONDELLO.

— „Cocchiere [1]),—Mondello!"

Пятно лабрадорного моря—вдали; солнце, солнце и солнце; такие деньки выпадают у нас в ясном августе: белые стены летят мимо нас; на них—ясности, а на ясностях разлетались лиловые кисти цветов: в ветерке; нас блаженно качает пролетка; сегодня—свежо; наши ноги укутаны тигровым пледом; вон бродит семья мохноногих, коричневых коз; два козла забодались, запрыгали. В воздухе прожужжала пчела.

Дальше, дальше: вот Via della Liberta; уже—загород; венчики цветиков благовонно летают; блистают—лимонно, красно; вот дерево—кувшинообразно раздуто оно у корней: водоносное дерево; из за куп апельсиновых рощ, эвкалиптов, магнолий приблизилось море; отвесная Monte Pellegrino совсем подползла, перегорбилась, привставая над морем; на ней патронесса Палермо, святая Розалия, появилась когда-то, сияя лучами, Виченцо Бонелли:

— „Ты—кто?"

— „Я—Розалия..."

— „О, зачем попускаешь ты гибнуть Палермо от язвы".

То было во дни моровой эпидемии.

— „Пусть останки мои принесут там по городу..."

Пронесли: язва—кончилась, а Палермо признало Розалию патронессой своей.

Под горой,—королевский раскинулся сад с милой виллою „Favorita"; дворец—павильончик: китайский, причудливый; он поставлен кокетливо здесь—бомбоньерочкой.

— „Cocchier,—постойте!"

Бежим по двору: помпеянские фрески сменяет нежданный ампир, чтоб смениться китайским орнаментом из драконов и чу-

[1]) Извозчик.

дищ; а вот и амуры; бесстильная, добродушная наглость смешений—повсюду; вот башенка с великолепнейшим видом; стоим на вершине ее: а вокруг—апельсинники; к „Pellegrino“ подкралося море на двух перелетных пролетах.

Отъехали: все ушло в апельсинник; пролетка завязла колесами в снежности тонких песочков; пересыпаю на пальцах песочки я, выскочив из завязшей пролетки; в песке—перламутринки, ракушки; и—коральчик; вот—море; оно—лижет ноги; та местность—Mondello.

Зачем-то, смеясь, насыпаем песочек в платки: белый бархатец он; и зачем то хрустим известковою створкою ракушки; море такое теперь бирюзовое: бледное, бледное,—проговорило нам парусом.

Там, оттуда когда-то возник строй галер, переполненных яснобронными воями: это явились—норманны; то было давно, в дни, когда на базарах, на улицах, гаванях, площадях раздавалась гортанная речь: „Дхарба-ба“ белоглавых палермских арабов, когда вместо церковок ширились распузатые главы мечетей, а сарацинские замки венком поднимались из зелени на уступах, над яркой жемчужиной города; страстный арабский поэт в это время слагал свои песни: „О, пальмы палермского берега... пусть орошает вас небо... дождями и кроткими ливнями!“ И до сей поры дуются над Палермо пять красных, пузатеньких куполков „S. Giovanni degli Eremiti“—построенной по традициям доброго, мусульманского стиля; пузатые надоконники из зеленой, окрашенной жести—остатки арабов: в двадцатом столетии; и остаток арабской культуры—гортанная песня палермских сельчан.

Вся Сицилия есть роскошный орнамент востока, вплетенный в Италию как-то, признаться, случайно; три ноты звучат: ренессанс итальянский звучит высотой симфонической музыки; но арабская орнаментика, соединяясь с Италией здесь, вносит в гамму симфонии крикливуюинструментовку à la Бородин; Византия ж вплетает иконами звуки церковных восточных канонов, не свойственных католичеству. А слияние нот—стиль Палермо—есть стиль неслиянностей: образует он тряскую скачку по разным тональностям ...музыки Скрябина.

Здесь, у моря, пред нами проходят: амуры, драконы, Помпея, барокко, ампир—все, что видели только что мы во дворце; пересыпаем песочек: и—вспоминаем о Скрябине.

Нас вспоминает возница: подходит с часами в руках.

Мы мчимся обратно, закутавшись тигровым плэдом, среди эвкалиптов, магнолий, цветов, водоносных древес, благовонных эфиров и реющих пчелок; и „Via della Liberta“ пролетает обратно; и отползла „Pellegrino“: уж два голубых старичка нас встречают с поклонами; мальчики в стянутых фраках с большими подносами пишут восьмерки меж шлейфами дам; мы—за сладким, палермским вином; там Рагуза нам машет приветственно холеной кистью руки; впереди ждет—камин, теплый чай, мандолины, и... смехи.

Смешно отчего-то нам; спим мы прекрасно; закроем глаза, и—как есть ничего; просыпаемся—в солнышко.

Монреаль, 1910.

17. ОКРЕСТНОСТИ.

Отправляемся в противоположную сторону от Mondello Стесняется город горами; желтеющий камень домов уступает такому же камню двух стен, меж которыми едем; дорога узка; побледнела стена: желтовата она; на ней ярко качаются красные, синие тряпки; и—кактус, откуда то выпертый, злобно вцепился колючками в воздухи.

Зыблется издали тонкий троетник.

Из него выплетают корзины угрюмые, коренастые люди, сидящие с трубками у краснобоких домов; дома настежь открыты; и нас поражает, что окон в них нет: двери—окна; жизнь дома отчетливо протекает пред нами в своих трех стенах; лишь орнамент она к желтоватой стене, как стена лишь орнамент пестреющих кряжей. Вот—внутренность краснобокого домика: синяя, изразцовая печка (такие же печки в Тунисии), стол; и под аркой, у третьей стены, пропестрели подушки постели; все выперто в

солнышко: загорелые руки мужчин, погрязневшие, яркие тряпки чернеющих женщин, курчавые дети.

Уже вечереет: печные огни выбегают багрово; и отсветы пляшут на желтокоричневой колее пересохшей дороги: толчки. И— крутеет дорога: плетемся чуть чуть; впереди францисканский ветшающий монастырь; мы выходим; и мы подымаемся вверх: ниже—лента дороги, бегущая вниз по уступам; и все заростает под нами косматыми, апельсинными чащами; точно клещи, обхватили Палермо они: прожелтением окаймляет Палермо лазурную бухточку, маленьким прояснем влитую из морского пятна впереди: э, да что это там? Острова? Балеарские острова?

Не всегда они видны.

Вскарабкались: босоногий монах с ассирийскою бородою и с выбритым теменем, перепоясанный серой веревкой, с откинутым капюшоном—ведет нас вперед: по крутым краснобурым холмаи, средь которых чуть-чуть пробиваются тощие цветики, витневатой дорожкой; откуда-то снизу сочится из камня слезливая струечка; тминные запахи, черные грустные гребни немых кипарисов, которые, изогнувшись,—скорбят над могилками; эта вот черносинезеленая, вековая метла—выше всех взобралась; и—указует как палец, на небо; а выше еще—в рудобурых верхах!—грязносерые пятна (вчера их там не было!): снег; скоро точно такие же пятна покажутся ниже, соскакивая по уступам—до нас: над апельсинниками задымеют дожди; будет слякоть: Палермо сожмется от холода...

Вздрогнули: бородатый монах подает жене цветик:

— „Вы кто?“

— „Францисканцы: точнее сказать—минориты.“

— „Какой небольшой монастырь!“

— „Да, немного нас...“

— „Сколько?“

— „Двадцать...“

— „Не то было прежде“.

С опущенной головою отходит со вздохом монах: это—кладбище, с церковью S. Maria di Gesi.

Спускаемся вниз: быстро катимся; снова обстали нас узкие стены; средь них—краснобокие домики: двери распахнуты: видим—трещат глянцовитые печки, пестреют подушки; а красные отсветы пламени лижут коричневый войлок распахнутой груди мужчин, лица злобных морщинистых женщин и голые руки курчавых ребят.

Мы—в Палермо; еще не стемнело.

Вот Piazza Bologni разорвана непереносными гамами; рой босоножек гоняется там за туристом:

— „Открытки: прекрасные виды Палермо!"

— „За дюжину—франк!"

Жужжат людом бары, кафэ и таверны; мы—прыгаем на монреальский трамвай; шумно носятся улицы; соскочили на Corso Vittore-Emanuelle; оно разрезает Палермо на две половины, концом упираяся в море, другим же концом продолжаяся в Corso Calatafini, которое вздернуто в горы; вот — море вот—набережная: стиль нуво ес чванится, как палермец, напяливший смокинг: то—Foro Umberto; а вот и собор, и Piazza Vittoria с пальмами, и—с фонтаном забивших в вечерние сумраки странных растений; над ними торжественно поднялось мавританское здание, соединяющее „Palazzo Reale" с Capella Palatina.

Довольно глазных впечатлений: домой!

Уже два голубых старичка выростают в передней: по правую руку, по левую руку; снимают приветственно кэпки; и—говорят:

— „Добрый вечер!"

До сих пор не могу отличить их один от другого: один—получил уже, а другой—ожидает; который из двух? Ожидает подарка; и я учащаю подарки; тогда появляется черный красавец лакей: независимо ждет—ждет подарка? Дарю ему: но едва его радую я, как уже выростает—другой: мальчик, стянутый фраком.

Разносится весть, что я— щедр: истопник, молодой человек, два посыльных, две горничных, кто-то еще, что-то сделавший предо мною—не мне, а себе: ожидают подарка!

Однако: не надо ли посылать телеграмму в Москву?

Монреаль, 1910.

18. СМЕСИ.

Страннейшая Porto Nuovo: кидается башенкой; напоминает она Китай-город в Москве; и арабится здесь цитадель, и китаится павильончик; проехав туда, за воротами, вы проедете Rocca, дряхлеющую группой домиков у подножия монреальской горы.

Закрутеют подъемы нагорий; и линия трама поднимется, близко прижавшись к тупым желторыжим камням и—налево из крепких обрывин вытарчивать будут вершины курчавых лимонов; и жестколистые апельсинники будут тянуть в окна трама свой—плод (недозрелый иль зрелый) на жилистых, многопалых руках; и окрестности виллочек, рощ, точно с места сорвавшись, покатятся, перегоняя друг друга,—в низы: убежит вся окрестность огромнейшим табором листьев; и будет она под ногами; и все посвежеет; и облако, липнущее на горе, расклубится; и местности отусклятся; закапают дождики на острогранные камни безлесий, сплошных малотравий; и люди пойдут уж не те.

Закопошатся здесь там малорослые, малоногие носачи, закрываяся полосатыми пледами, грузные; и угрюмо вот этот на вас поглядит из-за камня; заляжет, как будто в засаде,—вот тот.

Как гигантские челюсти—выдвинут ярус уступа пред вами; коричневатые кубы, как грубые зубы, лепятся на нем, скалясь в мутень тумана над дальним Палермо: не кубы, не зубы, а—домики Монреаля; как бивень, как желтокоричневый клык над отвесами пропасти, на которую снизу кидается табор деревьев, над плоскими крышами зданий угрюмо возвышен—собор Монреаля.

Иное здесь все (не палермское): климаты, мутности неба, строения, люди и нравы; не то—все не то; не ручное, а дикое; здесь сицилиец снимает свое европейское платье, как ветошь; и здесь облекается в ветошь, как в царское платье; приниженность странных манер, тщетно тщащихся быть европейскими, смело становится

гордостью дикой натуры, которой Европа чужда; обезьянья личина спадет; но горный разбойник, запрятавший в плащ свой кинжал, обитатель Испании—ждет между скал.

Тут—природа палермца.

Палермец, объевшийся яствами,—проживает в Багерии, о которой речь ниже.

Но что есть „палермец" Палермо? Он—морок, переплетение полюсов, многих культур; он сплошным землетрясом стоит предо мною; душа его есть землетряс, на котором стремительно рушится все, что построит культура; Палермо и нет в этом смысле.

Оно есть окрестности: противоречие—роз, мандолин, дико блеющих коз, дико веющих ветров, над скатами; противоречие зыблемых струями лодок и облачных плясок средь дикой расселины; противоречие серафических песен мозаики, ясногранно горящей и—каменный бред безобразных болванов и баб, разрывающих рты над воротами вилл обезумевших аристократов и графов в Багерии, где естественно начинаешь ты верить, что древний Сатурн, поселившийся некогда на вершине горы, еще жив в этой древней Тринакрии; и циклопы здесь водятся; и Солунте (развалины древности под Палермо)—живой, ожидающий Эмпедокла, сынов посылает своих посмотреть на развалины („Via Macquedo") Палермо; здесь греческой формы кувшин, из котораго наливают вам воду—кусок старины, переброшенный через тридцать столетий, быть может, как... герб странной формы, который вы видите всюду: бегущие ноги—трехножие!—с окрыленною головой посредине; и сбоку отчетлива надпись: „Панормия!"

Мерились силами здесь финикийцы с сикулами; карфагеняне боролись потом: сперва—с греками; с Римом—после; пересекалась борьба двух гиганских империй—восточной и западной; и с арабами бились норманны; ломались здесь глыбы народов; и—перетерлися в камушки; камушки складывались в мозаический тип сицилийца; из разноцветных мозаик он сложен; недаром мозаика, какой в мире нет, здесь сложилася именно; ясногранно горит утончением, я бы сказал, декадентским; но декадентства нет вовсе,

как нет вовсе грубости: первобытных культур мы не знаем; дикарь, говорят, примитивен; но нет—он упадочен; явно: последний упадочник упадающих старых столетий есть первый дикарь наступающих новых культур.

Сицилиец—все это: он—низко упавший „араб", для которого некогда настоящий араб сочинял свою логику; он же мощный предтеча веков Ренессанса, подъявший огромное зарево мозаичесвих зорь—до Джиотто; его, через восемь веков, исказил Васнецов, бывший здесь, своим ликом Спасителя; ясно: „Спаситель" В. М. Васнецова есть жалкая копия монреальского лика „Спасителя".

Жалкий дикарь и предтеча, безумный упадочник, выпивший элексир Калиостро, настроивший в XVIII веке ужасные виллы, с которых осклабились животастые и тупые болваны—все он, сицилиец.

Сначала слепит пестротою он; после он дразнит вас ею, как красным плащом; вы, как бык, разъяряетесь, заболеваете; вы—бежите: тогда он вонзает вам в душу отравленный, острый, клингзоров клинок...

Разноголосица: душно, дотошно, нестройно и знойно! По линиям пересечения стилей встает безобразие; и по линиям пересечения стилей ростет кайма грязи; я знаю: сперва рассмеетесь над странной фантазией перетащить для чего-то Китай, прислонить его к стенам домов; и рассыпать фарфорами по дворцам; пренелепейший верх Porta Nuova—Китай; ряды комнат в Palazzo Reale—китаятся; в Favorita—опять таки он.

Или—ряд наслоений, как в том же Palazzo Reale; он—крепость арабов; ее изнутри переделал Рожер, в „златоустую" Византию; казалось, довольно бы,—нет: и как чистейшие варвары, более поздние повелители не оставляли в покое Palazzo Reale; отделывали, переделывали и доделывали .. до недавнего времени; от Palazzo осталась одна только внешность, да две мозаичных стены, как прекрасный огрызок далекого прошлого, вкрапленный в очень многие, ренессансы,

ампиры, помпеи, китаи, барокки: „changez vos dames“ всех эпох!

Точно так же собор: он—чудовищно пышен, он—светел, роскошен; блистает гробницами, мрамором, золотом, золотыми сосульками, как легкомысленный зал, преисполненный танцами, где прохожая стая веков завивается в „chaine chinoise“, где прелат, согнув локти, поочередно с веселостью вертит своих легкомысленных дам: и—Помпея, барокко, ампир, ориенталь — миловидные дамы! — кокетливо вертятся: с кавалером - прелатом.

Монреаль, 910.

19. МОЗАИКА.

Но средь этого, все еще самобытного города, распустившего синие апельсинные кудри над нежною бухтой, где все наливается то—бирюзой, то—жемчужиной, то—лабрадором, то—яхонтом, то—изумрудом, в который упали клещи краснобурых камней, излетученных быстрой, дрожайшей, играющей стаею береговых животеков,—еще самобытного города мохноногих козлов забодавшихся вдруг среди улиц среди котелков, безобразных построек, тряпья и ослиного крика: живым самородом дрожайше играет и светит ярчайшими перлами вещих столетий старинная стая церквей.

S. Giovanni degli Eremiti—прекрасная „святость“; она—полуроззвалень, полужизнь: жизнь веков, возведенная к небу норманном в двенадцатом веке—на месте арабской мечети; четыре стены, красновато и крепко сложились и подняли пять темнокрасных своих куполов, благородно являющих полукруги (не луковки!), в ассиметрии поющих; один из них подан на башенке (небу!), имеющей вид минарета; при церкви — аркада; внутри заросла она радостным садом; вы—входите: тысячи пестрых цветов—желтых, синих, лиловых, оранжевых, красных поют полифонные гимны веселому воздуху, из которого вывет-

вляется пчелка; и падает в колокольчик, целуясь; и падают изумрудины мушек, смородинки божьих коровок катаются в листиках, переплетающих белые камни колоннок, держащих аркады; аркады—арабские; дворик—меж ними; три стороны—безоконные стены; четвертая—в окнах; в зеленые завитушки плюща припадая к окошку, вы видите: виды Палермо. Не церковь, а рай Магометов; не колокол, а рыдание тамбурина здесь слышится юз-за колонны—вот этой. Всегда бы здесь жить; сбоку — пять куполов, яркопурпурных, хотя темных,—пять глав: пять пашей

Но служитель, бряцая ключами, с поклоном подносит жене моей ирисы: мы—удаляемся.

...Вот—Martorana: старинная церковь; заложена—в тысяча сто сорок третьем году.

Мы вошли, мы—ослепнем: мы—слепнем уже; озвездение блесков, блеск блесков, лучи, опахала, павлиньи восточные перья, ручьи звездотека,—что это?

Мозаика...

Зарозовела мозаика пола, как нежные персики: каменный персик; на нем возвышают свои голоса йскролеты краснеющих, рдеющих, зреющих, синих, зеленых разводов и звезд, и кругов, и квадратов: из мелкого, глянцевитого камушка; плиты мозаики не повторяют друг друга: здесь камень плиты с четырьмя друг во друге сидящими полосами кругов; там же—звезды. Алтарь—беломраморен; отделяющие перила (еще не пропали оне!); и на перилах—мозаика.

Шесть желторозовых круглых колонн (две с арабскими буквами) держат воздушно реторику великолепного красноречия купола, где безчисленность звезд сочеталась в сплошное волнение золотого, горящего моря, которое—фон пестрокрылых архангелов света, светящихся, перлостволых деревьев с усеянными самосвѣтом каменьев короткими кронами, напоминающими павлинов, иль—веер; перловый младенец, звезда; и от нее проведенная нить—крылорукие ангелы—здесь; крылорукие ангелы—там; и—святые, святые, святые, и—их византийские лики—без строгости: в преображении блеска с улыбкой взирают на нас.

То—не храм, а—град Солнца: здесь Царь, призывая для радости мир, лишь для вида облекся в перловую ризу епископа.

Подлинный стиль Византии: не тот, что у нас: не сухой, не поджарый, не грозный: лиющийся влажно, раскидистый, светлый: какие златые уста рассказали все это векам? Из каких бриллиантовых взоров упали все эти источники света?

Georgio Antiocheno, строитель, в перловой своей мозаической ризе перлово припал к Богоматери, взором ласкающей,—в свете и в слове. Христос возлагающий царство рукою своей на Рожера, властителя острова, облеченного в одеянье горящих, восточных царей; жесты, контуры, нимбы, лучение—все византийское, наше; и—нет: нет, не наше.

Все светлости, светы, цветы, цвета риз, розовение пола и веянье крылий, и лилии,—или я ошибаюсь?—не наше.

А вон, в глубине,—там алтарь; и туда не заглядывать лучше; сон, свеянный светами, силами, блесками—свеется, разлетится, отснится: в отяжеленье бесвкусиц позднейшей пристройки.

Capella Palatina...

Вы—входите: слепнете снова—ослепли; не видите вы ничего: на несравненно обширнейшем, несравненно пышнейшем пространстве—опять: опахала, павлины, светила—светильник невидимых сил, преображающий камушки в звезды; все сириусы низлетели сюда.

Слепнете вы, когда быстро взойдя по ступенькам к органу, закинете голову, а служитель, смеясь, осветит потолок, потому что без этого освещения потолка не увидите; здесь господствуют сумерки.

Здесь орнамент изысканней; потолки здесь причудливей: великолепна Сицилия, великолепно Рожерово время: в нем восстал златоуст славословий живым златоустом.

Все меркнет пред мощным глаголом цветов монреальской мозаики: слово света там стало воистину плотью цветов.

Но об этом—потом.

Да, воистину, среди этого самобытного города, роспустившего синие, апельсинные кудри над нежною бухтой, в которую

падают оползни краснобурых камней, излетученных быстрой, дрожайшей, играющей стаею береговых животеков,—средь этого самобытного города мохноногих козлов, забодавшихся вдруг среди улиц, среди котелков, безобразных построек, ненужных „Китаев“, „Помпей“ и ослиного крика: живым самородом дрожайше играет старинная стая церквей.

Монреаль, 1910.

20. СВЕТОПИСЬ.

Впечатление Сицилийской мозаики развивается в нас: в световых переливах и в блесках мы ходим, а пестрости впечатлений Палермо есть просто мозаика, густо покрытая грязью цивилизации последних; преображение пестроты есть свет радуги; свет—свет духовный; грязь—тьма:

Вспоминаются: световая теория Гёте и свет интуиций Плотина; все то, что мы видели есть светословие—Гёте, Плотина: феерия куполов, пола, стен Палатинской Капеллы.

Бог—свет; свет не может не слать лучей в тьму; проницая ее, преломляется краскою; гамма цветов показует пространство пробега лучей, или вестников света, от Бога до нас; лучи—ангелы: вестники света. А тьма есть граница: она показует, что здесь прекращается странствие светов от света; граница—материя; формы в материи нет; она—вязкая неоформленность; формы суть краски: божественны формы; воистину: тьма, иль материя—зеркало светлых духовных существ; из плотиновой постановки вопроса о свете фантазия красок встает; так что — синее, красное, желтое, только—этапы духовного странствия, центры вселенной, иль—грады.

И видя мозаику, видишь впервые чистейший свет краски; мозаика—светопись, а не живопись вовсе; в ней краски—света; оттого-то события жизни духовной передаваемы здесь совершеннее, нежели красками; краски—цвета, иль цветы; отраженье божественной жизни в материи знаменуют они: а

цветок,—зажигаемый солнечный огонек на поверхности материального зеркала; живопись—цветопись, а мозаика—светопись; из преломленных светочей создалось ликование всей цветущей природы; так точно: из света мозаики создался примитив; из Мозаики вышел Джиотто; в ней зори рассвета цветов Ренессанса, в творениях кисти встает вознесение краски в чистейшую светопись и, например,—Рафаэля: вникая в Мадонну, висящую в Дрездене, видишь воочию свет, разлитой вкруг нее; свет исходит из краски; отсюда чистейшая радость, которая охватила меня полыханьем мозаики сицилийских церквей, где из мелкого глянцевитого камушка возникает реторика златых уст жизни света, где Georgio Antiocheno, строитель, перловою ризой припавший к божественной Матери, есть поэма, пропетая светами, а переливности красочных светочей—силлогизмы божественной мысли; градация круглых колонн—невещественный пыл.

И Палермо по новому радует нас; в нем читаем мы ответ божественной жизни: по краскам. Палермские краски: легчайшие контуры в небо протянутых гор; желто-красные ребра их в матовой зелени кактусов; темные впадины, полные сини меж ребер; волна лабрадорного цвета; и та же волна бирюзовая к вечеру: и смородинки божьих коровок на листиках, и летающий воздух—златистый злодей,—опьяняющий, как златистые вина Палермо,—в преображениях чувств начинают гласить перлоствольми пальцами, самоцветами гор, меж которыми носятся крылоручия ангелов; геологические породы слагаются умному зрению теологическим строем; и отдаешься всецело веселому богословию воздуха, собирая цветы реторической глоссы в букетцы стихов.

Мы с женой в нашем садике из каскада словесности выбираем себе живоречие цветиков: в пестроте стебелечков, колючек, коронок и венчиков закружились мы тропами фигуральных дорожек, предавшись метафорам вальсов, звучащим нам издали: пламень мозаики вспыхнул—нам в души.

Мы видели кущи Эдема, войдя в монреальский собор: он—

зовет нас к себе; мы серьезно мечтаем оставить Палермо: пожить в Монреале.

Здесь дорого нам: мои деньги ушли на c a f é, t h é c o m p l e t; и вдобавок Рагуза прибрал перевод, мной полученный только что: спрятал его; возмущает меня сребролюбие двух голубых старичков, и обязанность их одарять: (так уж как-то сложилось меж нами); когда ж я дарю старичкам (и тому, и другому), тогда—появляется черный красавец лакей; независимо ждет моих выходов, праздно гуляя пред дверью; а там, за углом, в коридоре меня поджидают: подросток, затянутый в фрак, истопник, два посыльных, две горничных, кто-то еще, что - то сделавший где-то (не мне); и—другие.

Довольно!

Монреаль, 1910

21. СЛЕЗЫ И СМЕХ.

В смесительствах—смехи; сам звук слова „с м е х“ происходит от „с м е с ь“; „эс“ же, знаем мы, переходит в звук „ха“, так что „солнце“, „солейль“ (по-французски) есть „селиос“, „хелиос“ (в греческом).

С м е х и суть с м е с и: и с и м в о л ы, с о е д и н е н и я—правды; неправды—смешение; это подделки под символы; видимость соединений—в смесительствах: чорт, корень лжи, здесь с м е с я м и смеется над Богом: в смесительствах чорта—смешное; когда мы смеемся—мы в чорте.

Когда-то такие сужденья высказывал русский писатель—в критическом очерке, осуждающем Гоголя; так рассуждая, был должен бы он не смеяться во веки; писатель, рисуя нам Гоголя, Достоевского и Толстого вскрывает чертовство смешений; все томы писателя в нашем сознанье рассыплются стройкою карточных домиков, если мы выключим этот простой парадокс: философия Мережковского в многотомиях книг его просто сплошное барокко нехитрого слова.

Приняв во вниманье его (смех есть смесь, смесь есть чорт: смех есть чорт), получаем две копии мира: и два разрешенье сме·сительства—в хохоте, в плаче.

Что есть гомерический хохот? Он—крики нутри. Что есть плач? Те же крики. Два полюса, две природы, две бездны сли·ваются—в смех: и оттого-то свой смех называет нам Гоголь не смехом, а смехом сквозь слезы. Пытается хохот и плач сочетать в нечто третье: в улыбку.

Но Мережковский его уличает: улыбки, де нет: есть смещение, смесь—хохот смешанный с плачем есть смех.

Но—действительно: смех через слезы не может быть смехом; улыбкою может быть он.

Мне на улицах здесь отчегото смешно: переряженный в смокинг палермец есть хохот. Он, сбросивши смокинг, стоит в Монреале, как плач.

Лишь в мозаике здесь сочетаются хохот и плач в световую улыбку.

Свет солнца сознанье, улыбчивость мира, поет где-то в воз·духе здесь: эта песня осела мозаикой; песня мозаики—тайна Палермо; она—тот таинственный Грааль, о котором мы слышали у де-Троа и у Вольфрама фон Эшенбаха; легенды гласят, что священное место его есть Испания; но почему-то мне кажется, что не в Испании высится сваянный светом Сальват (Монсаль·ват), а—в Сицилии: он—невидим; он—светлая сказка, повисшая в светочах; жажда его осадить в твердых землях, поставить на почву Сицилии рыцарством света,—досель разбиваются действи·ем злого Клингзора, которого место согласно преданью—Калаб·рия: из Калабрии грозно бросает Клингзор свое злое копье чрез пролив в сицилианские земли; и от удара копья сотряса·ется почва Сицилии; красная рана, смертельная рана ее—это Этна; Сицилия есть Амфортас, получающий страшную рану за тайную мысль: воплотить на земле благодати, таимые в Граале; улыбка мозаики—дивный прообраз возможностей жизни земной, ей порученный Богом сосуд: она ждет избавителя, полоненная черным Клингзором.

Где Парсиваль?

Что ощущал Рихард Вагнер, кончавший в Палермо свою небывалую драму-мистерию,—здесь, в отель „П а л ь м“. Что он вычитал в воздухе? То же, быть может, что мы? Световую у л ы б к у грядущего, отблеск которой—мозаика; лейт-мотивы Грааля в окрестностях города мною повслушаны; и—удары копья из Калабрии: в землетрясениях, в сотрясеньях культур, в сотрясеньях души пораженного раной палермца, который, пытаясь у л ы б к у божественных тайн воплотить, воплощает то х о х о т, то п л а ч: х о х о т у н и г о р ю н перемешаны в нем; два раскола своей не свершенной улыбки он создал—в двух местностях, в двух окрестностях города: в монастыре капуцинов и в виллах Багерии; *под впечатлением этих окрестностей мы с женой про*сидели весь день в нескончаемой тихой беседе.

Лил дождик: легчайшие очертание гор занавесились дымкой дождя; Ася, сидя в удобнейшем кресле, обвисши златистыми локонами, е чуть заметною полуулыбкой, раскрывши альбом заносила пером впечатленье Палермо; и попросияла ход мыслей.

Те мысли пытаюсь теперь изложить.

Монреаль, 1910.

22. МАСКА.

В Москве у меня в кабинете повешена маска (то—гипсовый слепок) с молоденькой барышни, утонувшей случайно: ей было не более девятнадцати лет; чистота милых черт поражала меня; прелесть их в упоительно детской улыбке погибшей; без этой улыбки весь гипсовый слепок бы выглядел схемой лица: глаза, нос, рот, две брови; и—только.

Вся прелесть—в улыбке, в едва простающем с м е х е с к в о з ь с л е з ы, в трагедии гибели, происшедшей улыбчиво; в милом—ч у т ь - ч у т ь, омягчающем слезы; в грустящем ч у т ь - ч у т ь, омягчающем смех, и являющем—тайну слиянности двух безобразий: ревущего плача, который—гримаса, и хохота (то же гримаса)

гримасы умножены, перемножены—что же? Гримаса в квадрате, казалось бы,—прелесть цветущей улыбки: весны „асфоделевых стран“. Ведь весною бывает порою так грустно; мы грусть эту любим; весною бывает так весело: в грустности.

Грустность весны затаила бессмертие, тайну и цельность; так юный сребреющий свет полумесяца в марте порою нам кажет чуть-чуть освещенное тело луны, окаймляя ее; освещенное еле заметное, темное тело,—есть часть, освещенная, все-таки; два аспекта луны (серп и круг) нам маячат в единстве; и кажется юный, весенний, сребреющий серп нам улыбкою грусти.

Но в мире господствуют половины улыбки: господствуют слезы, господствует смех; в оптимиста, довольного сытостью, и в точащего зубы на яства аскета—разорвана цельность трагической жизни; в дорических статуях архаической Греции, в сфинксовых легких улыбках египетских статуй еще есть улыбка: поздней—исчезает она: появляются слезы (в гримасах зверевеющих лиц, или в строгости вздернутых, пересушенных контуров христианских аскетов); и смех появляется: грубой шуточкой реформатора-гуманиста, воскликнувшего после долгих постов: „Wein und Weib“; и развратными хохотушками завитушек, и жирной круглотностью фижм, париков и „турнюров“ взвивает культуру позднейших столетий, приведших... к чему? К реву ужаса, к смерти; так черствости первых веков таят чувственность более поздних столетий; так чувственность материальной культуры заводит в жестокие, в черные черствости; получается черствая чувственность вместо улыбки Граала.

Клингзор, черный чувственник, черствый кастрат и аскет, выпускает в мир Кундри [1]); позднeй, при попытке вернуться к улыбке, художники заподозрены: подозревают улыбки „Джиоконды“, „Иоанна Крестителя“; подозревают все творчество Леонардо-да-Винчи в развратности—хохотуны, горюны, потерявшие тайну улыбок. И после уже: Гоголь силится показать

[1]) Клингзор по преданью „скопец“.

нам улыбку природы, когда описует он блески Днепра; но зачем говорит он, что Днепр серебрится, как... волчья косматая шерсть. Здесь, пытаясь создать мир улыбок, осклабилось творчество Гоголя страшной усмешкою Ведьмы; его Муза—„Панночка": „Мертвая Панночка"—усмехнулась ему, Хоме Бруту; и—вот: ужас Вия—Клингзора!—прошел в его душу сквозь Кундри. И творчество Гоголя, начинаясь улыбками „Майских ночей", разрывается на-двое: в хохотах, в ужасах.

Тайны улыбок не знает наш век, а в улыбке—начало любви; в ней слиянье душ: но в улыбке у Евы, дающей Адаму румяное яблоко,—трещина цельности; через Еву слиянье когда-то сменилось смешным и смесительным сочетанием тел полового соития; в буйностях пола вскрываются хохоты, ужасы: и хохотун, и горюн—насквозь пол, только пол: половинки они; они—пошлости мира. С тех пор горюны презирают улыбку, в ней видя усмешку; с тех пор хохотун презирает придавленность смеха в улыбке; срывая с улыбки фату целомудрия, в хохоте он обнажает.

Пленительность гипсовой маски моей превратили б, наверное, первые в геометрию: в нос, в глаза, уши; второй и тут бы увидел свинью; в геометрию, в свинство распалась действительность—стать только точностью свинств оборванца в Неаполе; определявшего свинства в глухом переулке перед смятенным знакомым моим:

— „К даме!"

— „К девушке!"

— „К мальчику..."

И—так далее, далее...

Это—Клингзор.

Уж однажды пытался горюн всю Европу подвесить к абстракциям мертвой схоластики: вытянуть линией стрельчатый шпиц возводимых соборов; стремление в высь рисовало прямой идеал: стрелу в небо, иль линию; так Инквизиция линию догмата превратила в веревку; горюн, став у вла-

сти, был вешатель; мир оторвался от виселиц; человек, так жестоко подвешенный к небу, стал дергать ногами, рисуя картины ужаснейших танцев и шабашей, оборвал ту веревку, с веревкой на шее пустился плясать и скакать: „Wein und Weib!“

Стиль культуры мгновенно сказался: и вот геометрия линий, крестов, треугольников, ромбов, встречающих нас, завились с оскомией восточных садов; и палящим востоком дохнул тамплиер на Европу в эпоху крестовых походов; крестовый поход, убивая в востоке араба, араба рождал... для Европы; сушайшая линия превратилась в овалы, ожив; оживальная арка сложила нам готику; в складчатость арок вошла завитушка: и Style flamboyant поздней готики в сущности есть переход к ренессансу: круглели овалы сухих сперва лиц, округлело сухое, как палка, сушеное тело; зигзаги орнаментов, иль оторванных нитей былой схоластической паутины, цвели завитками, мушками далее: в Louis Quatorze, в рококо. Смехота разразилась: смешливцы верхов просвещения задыхались от хохота каламбуров, смешений и шуток; и вот завиток ренессанса замкнулся в округлость цинизма французских салонов, которую рвет... революция: хохотун снова вздернут жестоким монахом в... штанах: Робеспьером; за ним Бонапартэ подтягивал в струнку Европу; подтягивал в струнку Европу Священный Союз: но—напрасно; пышнеющий рост „круглуазии“, т. е. людей с округлевшим желудком и круглым от хохота ликом процвел-таки.

Жизнь закруглилась: круглеет в Палермо она; так округло лицо сицилианского энтомолога, так округлы усы его; круглым движением бродит хозяин отеля средь круглых столов, звеня круглой монетой; круглеющим хохотом дышет Палермо туристов; на „Via Macquedo“ идет хохотун в круглой шляпе своей; отчего-то смешно нам: смешенье, смешенье, смешенье; в смешеньях—смешноты. Смешно и порою... ужасно. Нам кажется здесь, что придут горюны, что они уже близко, что—в нас, что их носим в себе: наш скелет из нас выскочит: скоро уже!

Монреаль 1910.

23. КЛАДБИЩЕ КАПУЦИНОВ

Горюны,—но послушайте: монастырский горюн воплотил отвратительность; гаденький ужасик долго таился в стенах монастырских; его насаждал капуцин—здесь, под самым Палермо; он рыл катакомбы; и пользуясь свойствами воздуха, двести он лет здесь высушивал воздухом трупы; неславные мощи десятками, многими сотнями в скорченных позах сидят и лежат, и висят в катакомбах,—не разлагаясь, но хуже того, — высыхая: ужасное зрелище, гадкое зрелище!

Вешал на стенку монаха монах; и повешенный высох, но— скрючился, сморщился, с витиеватой жеманностью перекосил — не лицо, а сморчок с безобразно разъявшимся ртом и с пергаментно-желтой, сухой перебухшей зачем-то щекою, с проеденным носом, с протянутым кончиком—не языка, а „к о н ч у ш к и“; монаху понравилось зрелище это: монах, вероятно, сказал себе: „Transit sic gloria mundi“; для назидания стал он подвешивать всех; приходили миряне и ахали; и завещали тела свои: „Пусть их болтаются, назидая потомство“.

Пришел и богатый палермец, имеющий виллу в Багерии, расхохотался (он был хохотун); и—заметил:

— „Отдам-ка я труп мой монахам: пускай себе он [illegible] хочет“.

Так в р е в Капуцина о жалком ничтожестве мира сего воплотился безудержный, гомерический х о х о т палермского шутника.

Так приходили повиснуть палермцы; так выросло гадкое кладбище—гадких, неславных мощей; безобразный обычай возник лишь в шестнадцатом веке.

В то время вся власть безвозвратно ушла от монахов: стремление вытянуть мир сорвалось; оторвавшийся мир вне монахов свернулся смешком, завитушкою, мушкою, анекдотиком; в это смешливое время возник анекдот глупых вилл: возникала Багерия; но монахи, схватив жалкий труп воплощенного анекдота, и

повесили с помпой его; инквизиция продолжалась над трупами: ныне висят „анекдоты“ палермцев сухой завитушкою.

„Анекдот“ прекращен итальянским правительством относительно очень недавно [1]).

Неславные мощи — суть символы устремлений горюющих; мир—сохлый труп, искони в катакомбе висящий.

Редчайшее зрелище!

Пересекаете ряд галлерей: справа, слева—десятки, десятки, десятки, десятки уродств, безобразий, цинизмов, кощунств, „анекдотов“, клевет на действительность; это—„vae victis!..“

Беззвучно-ревущие пасти в атласных монашеских шапочках, шалости детских гримас на морщинистых лицах, кокетства безносых невест, во всем белом лежащих в стеклянных гробах и горилловы морды сухих женихов в черных фраках, распяливших ноги; и дыры, и дыры, и дыры протлевших носов, протлевающих щек, барабанные вздутости кожи, отставшей от кости, и— кости без кожи, и кожа на кости; все это глумится, из выкривив шеи торчит; на все грозно упал капюшон, прикрывающий это; вот клок поседелой бородки под скверным клевещущим ртом, закривившим на брата, который, подъявши зачем-то поджарую ногу, отчаянно пляшет канкан и хохочет отсутствием рта; вам—ужасно; ему, горюну, променявшему вечные ревы по смерти на хохоты,—вольно.

Вот—он; вот—подобный ему; вот—подобный обоим; подобный им всем; неподобный им вовсе в своей исключительной гадости; гадкая девушка, чей прижизненный облик привешен портретом (какая красивая), тощий младенец, как все,—безобразник.

Все это—ревет, плачет, хикает, шикает, жестикулирует, давится смехом, то наглостью повернувшись друг к другу, то вдруг отвернувшись; воистину мерзости здесь не повторяемы, не подражаемы, не описуемы, не сравнимы ни с чем—разве только сравнимы со скверным рассказом „Бобок“, до которого унижает

---

1) В 1881 году.

себя Достоевский; вы помните возгласы трупов в „Бобке“? Я напомню вам их:

— „Заголимся и обнажимся!“

Действительность, воплощенная горюном, опередила фантазию Достоевского: труп себя обессмертил посредством монаха в цинизме своих „заголений“.

Его нагота есть скелет: скелет—чист; нагота—целомудренна; эти ж трупы, покрытые прорвиной кожи, нам кажущей из дыры своей кость, суть развратные декольтэ мертвецов; то—предел нам доступной развратности, жалкий „бобок“ их, подсмотренный павшей фантазией, или же хиканье гадких, тупых, безответных смешков в темноту.

Вот горюн: он при жизни сушил свою кожу—слезами, постами; но смерть, обессмертивши кожу его, подшутила над ним; он, как рыбий пузырь, повисает надутою воздухом кожей; подумаешь,—что за толстяк!

Так висят, препоясавшись серой веревкой,—в коричневых, в серых, в чернеющих, в белых одеждах—повешены, как селедки на рынке, как... гадкие камбалы.

Входите, ошеломлены, поднимаете руку, чтоб снять свою шляпу...—„Не надо“, с улыбкой вам шепчет монах, такой толстый, упитанный, подпоясанный, как и все, здесь висящие, серой веревкой, и — шлепает звонко по каменным плитам ногами.

Не знаю, как этот обычай возник: но мне явственен смысл его: когда лик ускользнувшего мира престал быть лишь линией, какой силился он оказаться под страхом святого Костра, разведенного горюном-инквизитором, — инквизитор-горюн принялся выпрямлять в катакомбах круглоты сбежавшего мира на трупах: подвешивал трупы, высушивал трупы; подвесил свой собственный труп.

Смерть над ним подшутила; за слезы о мире она, разорвав его рот, обессмертила хохот слезы его; он хохочет столетье над плачем былой своей жизни, прошедшей в насильственной позе постылых молитв; он за это теперь задрал ногу в канкан;

он—пляшущий хохотун; скорбь его безулыбочно протекала; она показала по смерти свой истинный корень—в циничном смешке двух сушеных грибков (вместо губ) искаженного рта; вот что он затаил под личиной прижизненной скорби в своем подсознании.

Горе, ему горюну, в его смехе: прочь, прочь! Здесь — Клингзор!

Монреаль 1910.

24. БАГЕРИЯ

Они „там": там — Багерия, необычная крайность, обратный, но столь же кощунственный полюс монастыря капуцинов: средь гор, где отравленный воздух—злодей золотой!—преподносит вино исступлений, средь рощ апельсинника, в местности, рдеющей розами, дуются странные виллы маркизов; как их описать?

Но послушаем Гёте:

„Стены обращены в непрерывный... цоколь, на котором пьедесталы поднимают кверху странные группы... Я сказал выше группы и употребил... неверное... выражение, потому что соединения [1]) этих фигур произошли не вследствие какого-либо размышления.. а скорее собраны наудачу... люди: нищие мужского и женского полу, испанцы, испанки, мавры, турки, горбуны, разного рода калеки, музыканты, полишинели, солдаты... боги, богини... Животные: только части, лошадь с человечьими ушами, лошадиная голова на человеческом теле... обезьяны, много драконов и змей, разного рода вазы, обмененные головы. Вазы всевозможные монстры и завитки... Если представить себе подобные фигуры, изготовленные по шестидесяти сразу, сделанные безо всякого смысла и толку.. то ощутишь неприятное ощущение" [2]).

— Далее.

---

[1]) Не соединение, а смешное смешенье (А. Б).

[2]) «Путешествие по Италии».

Гёте, столь сдержанный, выражается так: он был прогнан сквозь строй всех безумий.

Безумна Багерия: обезумели от хохота видно маркизы, смесившие хохотом все, что ни есть; превратившие мир в з а в и т о к каламбура, где столкнуты вместе: полишинели и бог; уж подлинно, люди ль они, уж не фавны ли? „К о з о-л ю д и" какие-то—не люди. Не даром гнуснейший бродяга, кричавший в глухом переулке Неаполя—

— „К девочке!"

— „К мальчику!"—

— кончил ряд

гнусностей выкриком гнусным—

— „К козе!"

Завелись „козо-люди" в маркизах Багерии; явно дело: К л и н г з о р о в ы к о п ь я попали в их сердце; и сердце их лопнуло: дьявольским хохотом; кровь беспорядочно хлынула в толстое тело; венозная, черная кровь отравила кровь красную: дико смешалась;—и смесями бредили. Гёте рисует владельца одной из тех вилл:

„Завитой и напудренный, с шляпой под мышкою, в шелковом, с шпагою... в... обуви, изукрашенной пряжками и дорогими каменьями,—таков был... пожилой господин..."

Завиток парика, иль козлиной, виющейся шерстки — не все ли равно: х о х о т у н этот жалок.

Я был на одной из разбросанных вилл; в ней я встретил подобное нечто, что бросилось Гёте в глаза: из ноздреватого камня глядели у р о д ы и х а р и; и рты разрывали у р о д ы и х а р и: ревели от хохота в веющем воздухе, в пестреньких бабочках; рев тот, как... плач:

— „Аа!"

— „Аа!"

— „Аа!"

Разрывались вокруг допотопные ревы уродов: сквозь пальмы глядела тупая гримаса козла; но сказать, чтоб смешенье являло безвкусицу, я не могу; хохотун для безвкусицы был слишком

тонок; безвкусица здесь—утонченье особого вкуса: безвкусица—«style satanesque». «Style mauresque» приедался гурману; его не варили уже круглобрюхие жители вилл: «арабески» они ради шутки сплошной довели до сплошных «сатанесок»; и сатанесса, принявшая образ владетельницы легендарного сицилианского замка «Калот-Бобот»,—встретила: пир хохотунский стал оргией шабаша; «Суккуб», направленный чарами злого Клингзора, свершавшего перелеты по воздуху (из Калабрии) появлялся: плясал хохотун «козловаки» свои в этих залах, юмористически выплясав здесь с сатанессой всех этих уродов: очнулся—урод заревел на него: черным ужасом смерти; и он побежал в катакомбу: подвесить свой труп.

Произошло кощунство незаметно: сперва хохотун пожелал воссоздать вкруг себя взрывы смеха: смесительством образов; образовались «смешонки»; «смешонки»—«бесенки»; фонтаны смешков, выбивавшие из разорванной пасти маркизов, создали смешение „принца“, которого высмеял Гёте. Но Гёте, приехавший собирать материал о первых годах Калиостро, прошедшего странным смесительным шумом по странам Европы—отсюда, из этого места,—он, Гёте, не понял источника виденных им безобразий: не понял, что здесь вылезает из хохота толстого тела маркиза—двойник, иль скелет: то—горюн; и не понял того, что Джузеппе Бальзамо, которому веяли здесь золотистые воздухи граалевой сказкой воздушных мозаик, когда попытался сложить свою жизнь, оплотняя из воздуха жизненный свой элексир,—был изранен смертельно копьем ядовитым; в попытках свести Грааль на землю наткнулся на страшную двойственность он: хохотун и горюн показали ему свои тайны смесительства: «Калиостро» есть фейерверк магии, схватка огней в человеке, хотевшего только улыбки, но встретившего сплошной хохот вокруг; и потешным огнем легкомысленных, внешних феноменов отмстил всем хохочущим граф Калиостро; потешный огонь, им показанный, был зарей факела, от которого вскоре зажглася Европа; горюн по

бедил в Калиостро: монахи подвесили жизнь „чародея", а толпы народа на площади пред судом королевским (в Париже) кричали сочувственно „у з н и к у" (гром революции близился!); весь процесс с ожерелием Антуанетты есть символ того, что хохочущий мир скоро должен был видеть рыданья; так кража того ожерелья, подлоги, судебный процесс, посредине которого встал Калиостро — подлог, совершенный Клингзором над цельностью хохота,

Хохот ревет допотопною тьмою в Багерии из листов и цветов, из златеющих воздухов; а одна из раздувшихся в хохоте рож мне напомнила рожи раздувшей кожи: сушеных монахов.

«Б а г е р и я» явственно перекликнулась с кладбищем Капуцинов; и капуциново кладбище выперло — из завиваемой шутки.

Был вечер: мы ехали в легкой коляске в Палермо; лиловые кисти цветов нам качались из воздуха; тигровый плед нежил ноги; и в ясности зорь леопардовых молча смотрели, прижавшись друг к другу; отвесная «Pellegrino» вдали перегорбила контуры к морю:

— „Зачем это все?"

— „Очень странно..."

— „Смешно?"

— „Нет: мне страшно".

— „И мне..."

Смеси стилей Палермо, бесстильность, как будто бы даже безвкусица, стиль той безвкусицы, — медленно подымал перед нами завесу свою: и воздушно роились мелодии «П а р с и в а л я» из легкостей воздуха, из опрокинутой чаши такого далекого неба; в глухих подсознаниях шествовал от земель Калабрийских Клингзор, чтобы... ранить...

Так вот о ч е м э т о!

Монреаль 1910.

25. ФРИДРИХ ВТОРОЙ

Палермо во мне вызывает сложнейшие мысли; Палермо есть узел двух нот: перекрестность путей; оно—Крест, образованный некогда севером, югом, востоком и западом; север здесь встретился с югом: арабы с норманнами; после же с немцами; Фридрих Второй, Гогенштауфен, пытается соединить смехи и гурий с горюющей строгостью первых крестовых походов; что поднял в Европе простой, босоногий монах, куда звал исступленно Бернард, то „коварно" для взора Святого Престола закончено Фридрихом; сон мозаической жизни, улыбка цветистая светов как будто подсмотрена Фридрихом; в нем появляется Парсиваль в воздух Сицилии; соединяется запад с востоком.

Но Фридрих не может найти примирительной ноты, слияние не найдено; Гогенштауфены поражаются папами; а Сицилию пополам разрывают: горюн, хохотун; в нее влитый восток упадает; и плачет гортанно арабскими песнями в подпалермских деревнях; горюн, расцветившись шелками, в прелате приемлет восточную пышность; Гарун-аль-Рашидом блуждает прелат в мозаичных покоях, вполне отражающих внутренность ярких тунисских дворцов.

Сарацинским копьем отравляется строгая святость церковной культуры.

Весь род Гогенштауфенов—символический жест, не прочитанный нами: не даром легендой, как ладаном, странно туманится лик Барбаруссы: скрестилися в нем Гибеллины и Гвельфы, устроивши брак сына, Генриха с королевной Сицилии; духом несется на юг; перед Генрихом адмирал Маргарино, склонившись, отдал вход в Палермо; семнадцатилетний сын Генриха, Фридрих Второй, захватив власть в Германии, все таки верен Сицилии: остается в Палермо он, развивая политику, от которой, естественно, отшатнулся горюн; вот—задуман крестовый поход: во главе его стал Гогенштауфен; папа Григорий IX, его отлучая

от церкви, ругает „пиратом"; иерусалимский святитель горюет о том, что „пират" опозорил себя договором с неверными; но—договор заключен: договор по которому Фридрих обязан восстать на защиту султана.

Вернувшись в Палермо, „пират" укрепляет сношенье с Тунисом. с Марокко, оставшися данником непримиримых врагов мусульманской культуры: горюющих и негодующих пап того времени; время его управления светит приветливо к «перлам» востока; арабы охотно вступают в ряды его войск; его сын призывает на папу неверных; Собор обвиняет «коварного» Фридриха в ереси, в святотатстве, в предательстве.

Действие Фридриха, точно... усмешка: в ней видим смешение смеха и слез. Чего ищет он? Может быть,—ищет улыбки, которой полна грусть весеннего месяца; небо Сицилии. Грааль, опрокинуто: ясности светлой мозаики носятся в воздухе. Фридрих Второй, тяготея к божественной цельности, к тайне сиянья культур (смехов, слез), получает двоякий удар: он изранен невидимо острым копьем сарацинской культуры, вливающей яд разложенья и неги в кровь севера; и оттого-то пред смертью он явно изранен ударом копья, нанесенного больно лионским собором; быть может, он—некий „принц датский", раздвоенный, двойственный: в плаче смешливый, смешной в тайном горе; иль он—„Калиостро политики", не сумевший нам внятно в истории написать письмена своей думы, ему самому непонятной; но весь он стоит предо мною, овеянный воздухом легких палермских высот и духами палермских садов.

Оттого-то за ним появляется с севера переработка легенды о Граале; Вольфрамовы думы поют на цветущих холмах; и блистания странных чертогов цветут в сицилийских церквах: пестроцветной мозаикой так, как рассказано это Вольфрамовой песней. Мне грезится светлый Сальват.

Парсиваль возникает в Палермо; и Вагнер притянут к Палермо: слагать «Парсиваля»; ведь есть Парсиваль—бог весны, бог улыбок, бог грусти сребреющих месяцев: тайный, неявственный облик, потом оплотненный, облик—таков Персиваль у Креть-

ен-де-Троа и у Гартмана фон-дер-Ауэ (оба проходят в двенадцатом веке); и фон-Эшенбах возникает за ними в XIII веке звучит углубленнее музыка Грааля в Вольфрамовой строчке: в Великую Пятницу голубь светящимся клювом приносит над Граалем из веющих воздухов Дар; Монсальват—это замок, построенный над Святейшим Сосудом: то он—утаился в Бретани, то он—перенесся в Испанию; странствует замок, бредя по легендам; и странствуют рыцари, сопровождая его... по легендам.

План замка нашел Титурель: Монсальват — круглый храм, окруженный часовнями, с башнями, вставшими ввысь; север, запад и юг открывают ворота, свод внутренний храма есть небо, где ходят звучанием музыки солнце и месяц; пол храма—прозрачный кристалл, сквозь который сверкают чудесные рыбы, на стенах златеют деревья; и сирины-птицы на них; все украшено ликами: по середине—возносится Грааль.

Таково описанье Сальвата—мозаики. Так, как рассказан Сальват,—лучезарно блистают старинные церкви Палермо; оне—перескэзы Сальвата; оне—зеркала его; он же—над ними: в златеющем воздухе. И потому-то звучат ноты Грааля там именно, где его отраженья нашли себе место; мозаика сицилийских церквей утонченней, блистательней, глубже равенской мозаики: последняя ветвь Византии; и первая — зеркало воздуха: в воздухе ж юга нечертан незримым глаголом Сальват.

Изумительно: сон о Сальвате потом повторился; вся схема его—средний круг, купол с солнцем, места четырех горизонтов, часовни окружности—разве все то не преломлено в Городе Солнца: гораздо позднее; но вместо картин мозаической жизни стеною вокруг обстает жизнь людей, где в мечте Кампанеллы стоят переблески, рождая в грядущее луч, и взвиваяся музыкой Вагнера: Вагнер же тянется к югу; припавши к Палермо, он явственней слышит—что слышит? Не то же ли, что и Фридрих Второй, Гогенштауфен? Не то же ль, о чем мне вздохнулось, когда затевал монреальский собор?

Здесь загадана тайна не сбывшейся цельности: роза эдема и крест распинающий, смехи и слезы,—пытаются слиться: и

улыбку из слез. Но слияние срывает Клингзор; под ударом трясется Сицилия; оползни грубо засыпали тайну.

Арабы влияли на музыку: в струнную музыку ранней Европы арабы внесли—барабаны, гобои и трубы; так точно в святое святых наших грез, в струнность песен о Белом Слетающем Голубе вдунуты: гром барабанов, гобоев и труб.

Так Вольфрам в песню Грааля отчетливо вводит культуру арабов: источником части сказаний его ему послужил „Флегетанис“, рожденный арабом; Грааль, взятый с востока, с другой стороны упадает из неба; в преданиях юга играющий камень упал, как звезда, из венца Люцифера; волшебник наносит царю Амфортасу смертельную рану—копьем сарацына; супруга Артура—вдали, на востоке; является брат Парсиваля, рожденный отцом Парсиваля от знойной арабки—грозить царству света. Есть данные думать: храмовники занесли от востока часть мифа; звук труб, в ней звучащий,—оттуда; принявши крещение, брат Парсиваля идет на восток: его сын же, пресвитер Иоанн, освещает восток.

И восток входит в миф; но с ним борется рыцарство; это же рыцарство—борется с западом: черный горюн, льющий слезы и крест превративший в мечи,—получает отпор: у Guiot из Прованса, которому миф приписал стих о Граале, сочится едчайший сарказм на монахов; о нем Сен-Мартен говорит: не борьбою с арабами полон он, а борьбою с собою; копье „сарацына“ здесь—похоть; легенда бичует церковников: тайна помазанья — внутренняя; свет Монсальвата — свет Духа; священство от Грааля свободно от уз иерархической церкви: не папа, а Грааль—их ведет; не калиф вдохновляет свободно встающего к свету из тьмы Парсиваля, который слагается в воздухе мифа, как белый, сверкающий голубь из пестрости бьющихся на-смерть культур, как таимая тайна слияний; он—луч, он—улыбка; Вольфрамовы строчки рисуют его светоносцем; и—кротким, как голубь; он—музыка Вагнера; музыка эта подслушана мною: звучит над Палермо она.

И понятен мне Фридрих Второй, как-то глухо подслушав-

ший музыку Грааля, пытавшийся музыку эту сложить в перепутанных нотах политики, соединяющей Запад с Востоком. Непонятый Северо-Западом, может быть, тайно отравленный Юго-Востоком, он... выронил дивное диво из рук, все рассеялось в воздухе: на земле оказалась хитрейшая пестрядь; так дом Гогенштауфенов—кончился; папа докончил его.

Мне понятен и сон сицилийской мозаики, тускло сложивший невидимый свет в многоцветные камушки, соединивший тьму с богословием Духа; непонятый сон уплотнили позднее гурманы в плоды райских яблок; их съев, разорвались в безумиях хохота: старец горы издалека их, знать, опоил на убой.

И понятна позднее попытка негодными средствами, чарами магий—создать огневой элексир. Калиостро встает лучезарным порывом над бухтой Палермо; проходится мороком арабесок своих по Европе.

Все тщетно, бездейственно: действует... Этна.

Москва 1919.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Монреаль.

26. МЕРТВЫЙ ГОРОД.

Непрерывные дождики капают в. окна; докучливы взвизги ветров: будто рой комаров; туча—ниже меня; я сижу у окна над пустой ресторацией, где одинокий турист ожидает трамвая в Палермо; в железе и в камне.

Живем в Монреале, в трех комнатах Ristorante Savoia. Проржавленный кран рукомойника, ставни, задвижки, постели— железны: скребутся о мраморный пол в гулком холоде; сыро!.. Расплакалась жесть подоконников, хлопают ставни и плачут окрестности; капают дождики в камень; спускаюсь по лестнице в зал: одинокий турист ожидает трамвая в Палермо; я дверь распахнул—и стою на пороге.

Глухой Монреаль каменеет в тумане, как горец, запахнутый в плащ, неподвижен в ненастье, склонив свои домики в взвизги ветров; утомительно капают дождики в камень.

Устал, засидевшись,—и в дождики я прохожу: в моей комнате столик, качаясь, царапает ножкою пол; и железо задвижек скрежещет; каблук утомительно стукает в гулкие мраморы; звук отдается в затылок и бьет меня палкой.

Сквозь дождики храбро шагаю в туман.

Коричневатый мальчонок, воскликнувши, как вчера, на меня нападает; и—отнимает центезими[1], сунувши в руку зачем-

[1]) Итальянская монета, соответствующая сантиму.

то двух птиц, а зеленые птицы летят из руки — прямо в куст. вереница коричневых мальчиков гонится долго за мною.

Монреалец, запахнутый в плащ, неприветно уткнул темный нос в темный шарф; и торчат его баки; глухой, малорослый, склонившийся в визги ветров, он проходит за мною сквозь визги и дождики; из-за домика выглянул точно такой же, как он, монреалец; и точно такой же, как он, монреалец, идет мне навстречу. Все трое составили кучечку, хмуро глядят: их нашепты уносятся в ветер, который, как рой комаров, завивает свой визг в переулочках, шириной в два аршина, где нет мостовой, где не может проехать тележка; природные плиты и выступы образовали ее; белесоватые, желтые, желто-кирпичные, выступы камня мокреют, как желто-кирпичные выступы домика, как серожелтые стены—такого же домика; коричневатый мальченок бежит из распахнутой двери на скользких камнях, подставив мне в нос кулачок, из которого мокрая птица просунула голову; стукает гулкий каблук в однозвучную тупость: иду; католический поп под распущенным зонтиком, толстый, как жаба, бредет на меня, колыхая живот; он — седой, земляной, два очка, опустившись на кончик носа, уставились под ноги; малые ж глазки над ними уставились прямо в меня; колыхаются легким плюмажем края чуть опущенной шляпы; кокетливым краем чрез плечи его перекинут большой и тяжелый, развитый в туманы ветрами, чернеющий плащ.

Колокола перекликнулись, захлебнулись; и заболтали без отдыха—в тусклостях близких высот, мне не видных от капель: туда; колыхая живот, побежал седой поп, под распущенным зонтиком, блещущим металлической спицей.

— „Динь-динь!“

Так пронзительно клинькают в каждые полчаса: церковки, церкви, капеллы; то там прозвенит; то оттуда проснется: откликнется, перекликнется, дружно столкнется; и заболтает безумолку—тоненький колокол с бархатным ревом колоколов из собора.

Набожно тянется стая старух; вереницей хромых, слепова-

ных, сутулых, угрюмых, приземистов карлов, укутанных в сине-зеленые шарфы просыпаются скользкие домики в скользкие улички, в два с половиной аршина, где ослику трудно пройти, где колючие кактусы прут из расселин и трещин; за ними в догонку, болтая друг с другом, как бы на журфикс, пробегут два аббата в изящных плащах; и — защелкают в уши трескучие речи их пламенных доказательств друг другу какой-нибудь частности разночтений ученого томика в тонких концецьиях; и в соборе сойдется большая кампания их, им подобных и... преподобных — в ярчайших сутанах, в атласнолиловых и черных; там мрамор колонн огласится взволнованным, шелковым шопотом, и восседут, уткнувшися в переплетенные томики, в тонко резные, спокойные кресла из черного дерева, выделяяся мрамором белых перил от мирян: на амвоне, над красными певчими; в переплетенные томики томно опустят ресницы:

— „Динь...“

— „Дон...“

Переулочки пусты: Толпа провалила—на площадь, к собору, где тонкий ловкач в сюртуке и в цилиндре, без зонтика, поливаемый ливнем, старается перекричать вой ветров католичеством; и—собирает толпу стариков перемотанных шарфами и удивленно моргающих: сутуловатых, хромых; вот уж крадутся в двери собора, как гномы, в арабски закинутых черных плащах до колен, с капюшонами.

Все провалили; и—пусто: сквозь дождики храбро шагаю в туман мимо желтого дома с кирпичною черепитчатой крышею: плоским уклоном бегущей от среза глухой, безоконной стены, разрубили дома пополам; и стоят полудомия; заросль громаднейших кактусов влезла вершинами к верхним уступам, к подножиям выше стоящих домов от ватаги глухих и бездомных пустот шелудивой ограды, подъятая нижним уступом; иду под мокреющей кособокою двухоконною башнею, срезанной дымкой тумана на миг; и—уже снова видной; пузатится зелень железных решеток пред окнами, сквозь которые кто-то всегда непо-

движно глядит на меня, потому что вдруг станет странно; я здесь прохожу каждый день—по убийственной уличке, круто карабкаясь, к желтой стене, из-за камня которой высоко косматится грива разросшихся кактусов, прыщущих стаями птиц и щебечущих в нижележащие трубы и крыши; с трубы в двери вышележащего дома протянута кем-то веревка с бельем; белье—мокнет, а кто-то глядит на меня: там какая-то женщина; вероятно, она молодая; и ей заповедано выходить под открытое небо: на улицах видишь старух; кто моложе, тот прячется за пузатой решеткою дома (арабский обычай, пустивший здесь корни; решетка — арабская); предок семейства, живущего здесь, был, наверно, араб, восстававший на Фридриха—в дни, когда Фридрих Второй в Палестине дал клятву султану Египта; здесь все обарабилось; все протекает в собор, где стоит бормотанье и стуканье лбов обарабленной жизни о пол; и — кишит духовенство.

И попик—худой, молодой и высокий, проносит достойно смертельную бледность лица под большим красным зонтиком, золотом изукрашенным; зонтик распущен служителем над круглогранною шапочкой; попик белеет кокетливо кружевом кофточки; руки приподняли бережно скрытый сосуд со святыми дарами; звенит перед ним колокольчик в руке у подростка; гурьбою бегут оборванцы, моляся, за попиком; старая женщина пухопоросшею нижней губой преклоняется в грязь с просветленными черными взорами; кликнула снова капелла:

Иду...

В Монреале пространство отсутствует; плоскости есть: высота и длина; широты быть не может; сплошная игра в чехарду усеченных домов; они сели на плечи друг к другу; и—сдвинулись в плоскости; весь Монреаль—многоярусность здания, расслоившего этажи на уступах веранд.

Желтокаменный город продолжался в город естественных стен; несеченность уступов сменяет иссеченность их; а между нежилыми домами, уступами мокрых заборов живые дома пор-

долмаются в скалы; когда-то был вдвое людней Монреаль; вот и на верхних уступах ряд уличек, где развалились дома, из окон повыперли кактусы; в обвалившихся крышах щебечут зеленые птицы, да ползают кошки; мальчишки из нижных, еще обитаемых улиц мясистые диски растений, как в цель, мечут камни от нечего делать; и в небо стреляет испуганно стаечка птиц, и порхает воронками пыль, когда — пыль (пыль еще я застал).

Выше...

Нет никого: переулочки стен и дома с провалившейся крышей; пустеет капелла: и ширит отверстия окон из мертвых агав; ковыряет в носу равнодушно забредший сюда монреалец; он, в сущности, мог бы стать в эту минуту бандитом (дурною молвою ославлены жители); смотрит восточным лицом; чрез плечо перекинутый шарф затрепался по ветру; я—щупаю свой револьвер; мы—расходимся.

Кончились камни развалин; лобастые — камни уступов, коричневожелтые, желтые, серые блещутся глянцами в дождик, еще моросящий, хоть всюду теперь понеслись через гребни пролеты небес и меж них понеслись облака, а туманы пропали; и Монреаль—такой маленький; камень мальчишки, запущенный снизу, теперь не достанет.

Сажусь на уступ; подо мной—клочок облака; ниже—крутеет собором разрушенный город над выступом; ниже еще—апельсинник полез; сквозь него пробегает трамвай, точно юркая ящерка в скважинах почвы.

Пропела капелла; колокола ей откликнулись; колокола заболтали: болтают безумолку; каждое получасие носится в воздухе кличем капелл. И—взревет там, как голос слона: то собор: и примолкнут, таясь, голоса колоколенок.

Монреаль 1910.

27. СИЦИЛИЯ

В головастых обломках сижу средь пещерок, где водится кактус да... грязный мальчишка, из скважины бросивший камушек прямо в меня; припустился теперь наутек, замелькав грязной пяткой и яркой зеленой заплатой на локте; из кактуса падает он от меня по отвесу (на город под нами): прыжком — на уступ, где из ирисов высится козий пастух и откуда дилинькают мне колокольчиком волосатые козы, пугая рогами; они — из Берберии; их привели за собою арабы.

Чрез ливень проткнулась гребенка холмов, вылезающих голо с зеленых предхолмий, где кучки рожковых деревьев растут вперемежку с маслиной, откуда краснеет сырой известняк, из которого горец жжет известь; и — твердые туфы стоят; из окрестностей в почве глядятся огрызы, раскроины... брошенной каменоломни (как кажется); горы совсем малотравны; и даже — бестравны, как горб Пелегрино, сереющий, складчатый, ноздреватый и скважинный.

Если бы мне приподняться до уровня кряжа и кануть в туманы, то встретится: монастырь Сан-Мартино (с коллекцией древностей); вскроются: мрачные мысы, в которые хлопает море бессменною бурей: играют стихии. Стихия — Сицилия: мне до прозрачности ясно, что яркий певец сицилийской культуры развил философию мира стихий: Эмпедокл, может быть, здесь бродил.

В пятом веке [1]) пестрела, цвела здесь культура; и двор сицилийских тиранов блистал именами приезжих поэтов из Греции; Пиндар, Эсхил, Симонид, Бакхилид посещали тогда Агригент, зарождалась реторика; и Эпихарм создавал мир комедий; политиканствует здесь Эмпедокл: углубляется в мистику; и — создает „Очищения“; переселение душ ему ясно; он помнит, что был уже „ю н о ш е й, д е в о й, к у с т о м,“: здесь, бродя по горам, созерцая как хлопает море о мрачные мысы, быть может, его

[1]) до Рождества Христова.

осенило, что сила, безжалостно рвущая Вечность во множество,—сила вражды; с той поры и четыре стихии, враждуя друг с другом, подъемлют циклоны крутимого множества: хлопают волны и воют ветра; пестротой слепят очи кричащие краски; огонь осыпает корявые почвы: сплошным землетрясом; кидается жертвенно в пламя горы Эмпедокл (так гласит нам предание). Чудо любви совершается.

Он—лейтмотив сицилийских загадок, которые множатся в пестрой мозаике множества; при попытке осилить слиянием войны стихий и культур,—здесь, в Сицилии, возникают уродства смешения: хохота с плачем, воздушности с косностью, пламени с камнем, креста с полумесяцем.

Пифагорейскими ритмами прядает воздух Сицилии: прядает почва; земля начинает трястись.

Пифагор, Эмпедокл, Гогенштауфен, граф Калиостро пытались в различных веках разрешить тайну Имени, скрытого почвой; но грозная сила бросает удары: бросается в Этну философ стихий, возникая позднее, как... Фауст в Европе: так чорт ему мстит; Гогенштауфен, Фридрих Второй, внятно слышит в отчетливом воздухе Грааль; но он гибнет, как гибнет Джузепе Бальзамо.

Удары клингзоровых копий безжалостно мстят: за попытку раскрыть тайну Имени.

После являются с севера Гете и Вагнер разгадывать; первый—бросает: „Здесь ключ ко всему“ [1]), а второй ловит в воздухе звук пифагоровых чисел: единства во множестве, белизны в пестроте и любви средь смешений; в мистерии-драме загадка Сицилии снова стоит. Оторвавшись от дум, я бросаю летучие взгляды—под ноги, под камни, под город; я думаю: если сбежать чрез сады апельсинника в нежную желтость мимоз и в суровую синь жестколистий, встающих из пара,—очутишься у извилин Орето (реки подымающей шум), где бросался когда-то на римлян (вы помните ли?) Ганнибал: толстоногой фалангой слонов.

---

[1]) „Путешествие в Италию“.

Здесь, в извивах Орето, среди олеандров и тута грязнеют бокастые домики—в мусорных кучах и в гнили; дурной подымается воздух, смесившися с запахом нежных лимонников; в зелени, прущей из почв, как во всем—пестрота: желтизною тончайших, узорчатых листиков, странно пятнится синь общего фона деревьев; фатаморганы окрестностей, вставших в пары,— удивительны: мороки воздуха явно меняют ландшафт; маскарады во всем!

Облекается сморщенной кожей скелет капуцинского кладбища, а из „маркиза" в Багерии скалится—он же; палермская церковка—в красной чалме (Martorana) укрыла: сквозной колорит христианства; колончатый двор в монастырской ограде (под самым собором) оделся в роскошества: явный араб Монреаля таскается в храм, а аббат фиолетится яркой сутаною, напоминающей гондуру, иль подплащник, араба.

Самая флора Сицилии—смешанна: север, восток, запад, юг перекрещены в ней; Декандоль утверждает: маслина была неизвестна здесь с древности; многие виды безлистных кустарников (spartium) появились из Африки; кажется, гости Сицилии,—тамаринд и фисташник; от севера сходят: каштаны и буки; от юга восходят к Сицилии сикоморы (их родина—жаркий Судан) и колючая барбарийская фига; является—пальма; встречаются: американские кактусы; рослый тростник, как..., бамбук; о теснейшем родстве флоры Северной Африки с сицилийскою флорою говорили ботаники [1]); появился в садах рододендрон (розовоцветник) с арабами; космополиты Сицилию любят; стекаются к ней отовсюду; и множеством пестрых растительных видов богата она, опередивши Италию вшестеро и перебросив в Неаполь дары от цветов своих.

Олеандры различны цветами; повсюду кустарники спорциев бросили желтый барокко своих мотыльковых цветов; точно стаечки бабочек липнут безлиственно к зелени прутьев; нежнеет сквозной тамаринд; и рассыпан гранатник и ширится пиния;

---

[1]) См хотя бы сочинение А. Гризенбаха: Растительность земного шара согласно климатическому ее распределению. Т. I.

ф е н и к с [1]) качает свой трепаный, лапчатый лист, но плодов не приносит: в Сицилии нет еще фиников; папоротник великанно расширен: и тамариск по весне рассыпает свои ало-цветы.

Все это—вскурчавилось, вспучилось и простерло космато свой спор над домами, сплелося лианами: буйствует густо под роскошью воздуха; и—наливает плоды круглый год, так что цветики белого флерд'оранжа юнеют безумием песенных запахов рядом с румянцами зрелых, тяжелых шаров.

. . . . . .

Гете где-то сказал, что п о э з и я е с т ь з р е л ы й п л о д в с е й п р и р о д ы. Мне это здесь помнится. Зреет глубинами мысленных ходов сквозной афоризм, прорастающий ими, как семя, ветвями.

Возьмем семена изречения Гете и в душу посадим...

В природе мы видим шиповник; культура шиповника—роза; природу берем в свои руки в культуре ее; и такая культура—поэзия; роза—поэзия бедных шиповников; белая кошечка—греза косматого льва: ангелический образ, таимый в природе; так „грезы"—возможности; в мудрой культуре природою станут они; так творится действительность; все сотворенное—мертво; все мертвое—стало кристаллом закона; п р и р о д н ы й з а к о н есть кристалл, нами созданный некогда; вот почему н е д е й с т в и т е л е н он для меня; мои бывшие действия—данность природы: мир камня; когда то все эти тяжелые контуры гор были жизнью систем философий какого-нибудь Эмпедокла; став так схема рассудка восстала горбами базальтов и туфов вокруг; прорастает природа кристаллов бытийными травами, ярко пестреет цветами народного быта, в котором уже созревает культура поэзии.

Почва поэзии—речь; иль способность создания смысла различными звуками; пантомимический жест языка, залетавшего пляской во рту, есть действительность-собственно; так, как мы мир произносим, слагалась природа, произнесенная некогда—

---

[1]) Финиковая пальма.

звуками Слова: за каждым природным феноменом—звук, из которого сложен феномен; все вещи—звучат; звучит—солнце; и Гете поведал:

Die Sonne tönt nach alter Weise
In Brudersphären Wettgesang.

Но до него Пифагор и орфисты подслушали это: Сицилия их узнает, потому что воздух Сицилии падает солнечной песней; природа Сицилии—кем-то пропетая песня; и плод, в ней налившийся—песня Сицилии: буйственный клич Эмпедокла... из Этны; она—продолжается, тяжелеет позднее, садится в уста сицилийцев, как смешанный диалект из различных наречий: потом диалект этот ширится за пределы Сицилии, распространяясь в Италии и образуя теперешний итальянский язык; а немного позднее язык оседает в разбрызганном камушке пестроцветной мозаики: из основ новой речи встает строчка Данте, из светов мозаики—краска Джиотто; культурой Италии солнечный ритм Пифагора, сквозь жест Эмпедокла, сводящий гармонию сферы в гремения Этны,—культурой Италии, Ренессансом, восходит закваска грядущей природы земли.

Это чувствовал я, затерявшись в долине Орето однажды, когда выпал солнечный день между ливеных дней: изречение Гёте во мне бессознательно развило крону листьев; и я и жена,—мы сидели на камне; вокруг закурчавилась, вспучилась почва: и буйственно, густо качалась разлапыми пальмами в роскошах воздуха; песнями нежно юнел флерд'оранж под улыбкой серпа, занесенного в воздухе... и нисходящего к легкой горе звуковым Парсивалем.

Грядущее в нем: воздыханье о нем в нашем сердце есть белая роза, в шиповнике: тайна слияния многих в одно, тайна ясной любви прозираемой Эмпедоклом сквозь ярости Этны, луч белый, загаданный маревом Сицилийских пестрот—в нем, в Грядущем; и Вагнер—предтеча Грядущего—это грядущее слышал, припавши к далекому прошлому: к кряжистым почвам палермской земли; звуки драмы - мистерии — зрелый, налившийся плод, утаенный под мякотью странных смешений Сицилии—тай-

вою, семенем: мякоть—гниет, как... навозные кучи вокруг красвобокого домика; семя — взойдет: и природою белых цветов флерд'оранжа развеет любовь.

— „Парсиваль“ —расцветает легендой, вспоенной природными соками и востока, и запада; соединение соков—Сицилия; соединение флоры—Сицилия; бытия в ней столкнуты; столкнуты в ней две культуры: борьбою века сотрясалась она.

Под борьбой—вызревающий символ Сицилии—музыка ,или— Святая Цецилия.

Музыкой некогда мир изречен; эта тайна вскрывается; и говорит мне сквозь мороки:

— „Не Сицилия, а... святая Цецилия“.

Это она призывала, должно быть, сюда: умудренного жизнью великого Вагнера, чтобы он высказал звуками: тайна шиповника, роза, распустится: новой природою; крест, обведенный на старом соборе отчетливым кругом, есть крест внутри розы. Розалия—имя святой этих мест.

Соединение розы с крестом нами ясно подслушано: морок Сицилии нам отблистал; мы коснулись ключа к словам Гёте: „Великие... несравнимые воспоминания о Сицилии... ясны, цельны и отчетливы [1])...

Соединение розы с крестом нами ясно подслушано; морок Сицилии нам отблистал; мы коснулись ключа к словам Гете:

— „Здесь ключ ко всему“ [2]).

Монреаль--Москва 1910-1919.

28. МОНРЕАЛЬСКИЙ СОБОР

Упадающий ком рассыпается в смехи и пыль, из которой выходит крикливый мальчишка, а туча, оплакав утес, оставляет на нем самородную радугу; радуга эта—собор; ее светлый клочок, одевающий блеском Палермо, и есть Марторана.

Прекрасные контуры линий равеннской мозаики, виденной

---

[1]) „Путешествие в Италию“.

[2]) Idem.

мною на снимках, грубее разливов и звонов огня, выплетающих купол собора из ласковых лепетов лета: в сплошных а н г е л е с к а х; пространства разъялись; и вечное око проплакало в них, переполнивши чашу, Грааль; эта чаша—собор: совершилось сошествие; чуется: шествие рыцарей храма—с востока на запад.

Собор монреальский стоит и вещает рассказом о рае: под облаком стен; невещественен он; его стены лишь чаша: в ней—тайна сошествия.

Стиль всей постройки—норманский [1]).

Туманом, осевшим на серый уступ, показуется издали, он протянувши две башенки серокоричневым телом, приплывшим с востока: от Тигра; внутри, охладненное мрамором, дымно повисло оно над долиной Орето; и три полукруглых стены полосатятся пятнами: пятна—коричневы; фон—желтоватый; но кажется издали: бросили зебрину шкуру; то—задний фасад, сочетающий краски свои в берберийский орнамент, сплетающий ткани плащей благородных сельчан; у которых такими же точно кругами и дугами пестро исходят оправы зеркал, инкрустация нишей и грань табуретов; там всюду желтеет точеная кость средь коричневых выплетов дерева; как этот фон из коричневых выплетов тоже желтеет дужка.

Передний фасад показует арабскую внешность: углами квадратно поставленных башенок, несимметрично летящих вторым этажем, как поставленный кубик—на кубе; и сложены так: минареты Туниса.

А вход—в колоннаде; белеют колонны чуть-чуть бирюзовым отливом; синеет зеленая бронза узорной двери, показуя всю роскошь художеств литейного мастера; благоговейно смотрю на изделья старинных литейщиков я; еще в Галлии видны следы его; уж при дворе Меровингов оно процветает; король Дагоберт его любит; когда-то скульптор и литейщик соединялись в одном ремесле; покровитель литейного дела сам Карл; на протя-

[1]) Год закладки 1174-ый, г. окончания мозаики—1182-ый, г. окончания собора—1189-ый.

жении от IX до XII столетия стили литейных изделий (соборные двери, решетки) —под импульсом византийскаго стиля; в XIII веке переменяется стиль их;—в то время возводятся Реймский, Амьенский и Шартрский Соборы; победоносная готика преломляет литейное дело до половины XV столетия; и позднее перестает оно быть религиозным искусством; до этого времени видим монахов, искусников, техников этого дела; таков—Теофил, написавший трактат о своем ремесле [1]), он—огромный художник; до средины XV столетия вместе с бронзою фигурирует в украшеньях дверных и слоновая кость; и потом заменяет резная скульптура ее.

Великолепные дверные замки от двенадцатого до тринадцатого столетия; о, воистину, это искусство утратилось [2]). Долго мы смотрим на двери из бронзы; чудесные двери с чудесным замком!

Всюду в башнях—оживы прорезанных окон; одну подпирает колонка—арабская; посередине, меж башнями, в них утаясь, поднимается крест из отчетливо видного круга: крест в круге.

А сбоку—опять холодеют до легкого голубого отлива колонны, сплетясь в белизну колоннады.

Три стороны разно бросают свой жест, призывая своим триединством на площадь, где полная звуками чаша собора гудит полифонно и отражает искания Средних веков: вспоминается: фландрский монах, Гукебальд, нам дающий свою музыкальную грамоту в самом начале десятого века, и песня Франциска, и школа монахов, создавшая жизнь благозвучно-незвучной септимы в двенадцатом веке: усилия разрешить диссонанс в жизнь гармонии, тайна единства в триадности, диспуты старых монахов (realia, nomina, noumena, anima) слышатся явственно: в вычуре трехстороннего жеста, в трехзвучии стиля; норманн, византиец, араб—спорят в нем: побеждает—норманн.

1) „Diversarum artium schedula“.

2) A. Lemaitre. Le Louvre. Monument et Musée depuis leurs origines jusqu'à nos jours. Paris 1877.

прочитав пифагорову тайну числа и на ней воздвигая ветвистое здание, полное музыки, о которой в XIII веке Маркетто из Падуи говорит, что цветы этой музыки нам раскрывают аккорды, что плод их—гармония; музыка—церковь; о к т а в ы — с т у п е н и р а с к а я н ь я нам открывает Иоанн де - Мурис; и кто близко приблизится к стенам собора,—тот слышит:

— „Покайся!"

. . . . .

Вы входите: в бури ликующих крылий, роняющих отзвук ясных незвучий небес звуковою волной; опускается взор, опаляемый светом и ищущий точки опоры на мраморах; там из сквозных самоцветов, как око из слез, на вас—падает, падает, падает солнце:

— „Покайся!"

— „Приблизилось!"

. . . . .

В белые мраморы впаяны блески крестов; процветает эдемская роза—розетками; тяжкие камни, протертые тысячью ног, как старинный ковер, холодеют от полу; решетка из белого мрамора разделила собор на две равные части: на царство мирян и на царство пурпуровых певчих, где ходят каноники, где лиловые кучи атласных прелатов, как клумбы фиалок, наполнили храм ароматом молитв, попирая круги, многогранники пестрой мозаики, менее стертой и все еще блещущей; кружева и атласы пестреют в дни служб в этой части собора; в алтарной стене поднимается белый ковчег—от ступенек; и справа, слева—резные сиденья; епископ садится направо в тяжелое велелепие трона; над этою мраморной косностью бегает — мозаический блеск; и—вещает:

— „Покайся!"

. . . . .

И тонете вы в седмицветии трепетов; в буре сплошных шестикрылий, в лучах пятикрылых фигур, на кристаллах квадратов, в огне треугольников, из которых расплакалось всем этим миром извечное око,—где лилии шестикрылий тают в нем укрытого ан-

тела (он запахнулся от ужаса в свете любви), и где нет еще мира, но ритм мирозданий, извергнутый вот от этого места стены бородою носимого Духа, упавшею в синие бездны: сапфиры, сапфиры, сапфиры; и в них ничего нет, кроме... Божия Лика внутри клокотаний сквозных завитков бороды; в ней—запутался голубь: подобной концепции я не видал еще.

Бездною золота там раскипелося все: в это в с е жутко вдвинулась краем скала: на отвесном краю синеблещущий Яков, напруживший мускулы, борется с мощным усилием длиннокрылого ангела: ангел свергает его в золотой кипяток; крылья ангела: тронешься—прыснут оранжевым блеском; еще—крылья ангела брызнули яростно изумрудами искр: нет оранжевых искр; и вокруг—фосфорический перелив мирозданья. Вот, восседая на облаке, Бог опускает десницу в сапфировый круг непроцветшей вселенной; и—далее: синий сапфировый круг—процветает, как... почка: ростками фигур; образуется в нем вся история мира; и ветхий завет начинает пестреть; но порою—в нем, созданным синим сапфировым кругом, вторично является: синий сапфировый круг (только в маленьком виде); он плавает в воздухе отчих созданий; он катится здесь по векам, оплывает пространства рубиновых, хризолитовых линий и золото волн, омывающих все; то из синего круга протянется перст указующей, Божией, десницы, то светленький лучик упал из него на сквозное лицо облеченного в перлы родника; круг этот, верно, приплыл в Монреальский Собор по молитвенным душам из Индии; там он—Манванторы круг; *или даже приплыл... из-за Индии, в ней осаждаясь из* неба, которое тоже есть синий наш круг: это—глаз треугольника; точка незримого центра кометы, развеявшей хвост херувимских воскрылий и к нам, точно Сирин, слетающей—с синею западающей тайной.

Христос—синеблещущий: встал во всю стену по грудь; и под купол приподнял десницу с двухперстным сложением пальцев; весь лик—белорозовый; кудри его, борода—светлорусы; пробор в волосах—на боку, отчего выражение черт величаво слагается в строгость; пылает огнем Богоматерь под ним...

Взоры падают в пол; зазмеились на нем арабески; приникли к решотке из белого мрамора; пол алтаря: мозаичные плоскости синих, малиновых радуг, взаимноизломанных в кружево, легшее там на зеленые плоскости камня, в котором открылися красные пятна шаров.

Семицветие вспыхнуло в б е л у ю точку престола: там—восемь светильников; форма престола—ковчег; и светильники блещут; подъемлются возгласы, напоминая мне возгласы наших восточных обрядов (нигде я не слыхивал этого темпа служения в католической церкви); когда золотой архиепископ из пестрой розетки аббатов взойдет на ступени пред б е л ы м к о в ч е г о м и вдруг обернется оттуда к толпе бедняков с заблиставшей звездою в деснице, подобной алмазу, то справа поднимутся синие певчие, слева поднимутся красные певчие и—преклонятся низко алмазу звезды; заливаются—звонкие, тонкие!—голоса колокольчиков, как серебристые линии в пурпуре зычного гласа органа.

Бьет—колокол; вторит ему загласившая стая капелл и церквей: крестоносное войско восстало из этого места сквозь бездну времен: и удары меча по сверкающим латам осыпет, как искрами, золотом старого звона окрестность; из сумасшествия б е л о г о к л и ч а капелл на минуту возникнет зов времени: зов Титуреля:

— „Где ты, Парсиваль?“

Золотой, восседающий в троне епископ,—болеющий красною кардинальскою раною, кто? Амфортас?

Я не знаю, но знаю, что именно здесь мог дописывать Вагнер мистерию-драму.

. . . . .

И нет: здесь не холод схоластики: пылкая жизнь бьется гейзером страсти; и подлинно молятся, подлинно отдыхают: смеются и шепчутся; мраморный точно с камеи сошедший, прелат благородно склонил безбородые контуры лика, покрытого шапочкой, к мрамору,—в синей сутане над яшмою круга; как будто бы высечен он из тяжелого медожелтого фона; серебряно брови его нависают над углями до-бела разжигаемых глаз, про-

коловших иглою алмаза пространства собора, и снова угасших... при виде меня; черноглазая хитрость Италии прошлых веков сочетается в нем с аскетической строгостью протонченного профиля: нос, как у... Дантэ, а губы таят теперь шутки Арлотто, когда, приподнявшись с колен, он подходит к аббатику и, наклоняясь седым, излучающим пламень лицом, что то шепчет; аббатик сложил на животике руки и плачет... от хохоту; пережженный прелат, будь он папою Львом, вероятно, как Лев (Лев Десятый) завел бы себе Фра Мариано, шута, и кормил бы его испеченой вороной, как Лев: Лев Десятый; и как Иннокентий Восьмой, он, быть может, купил бы свой трон; в нем, быть может, как в Борджиа, вскрылись бы яды страстей, иль как в Юлии—великолепные щедрости; соединением страстности с силой духовных порывов отметился лик его.

Кто он?

Я видал его после: воссев над пурпуровым рядом восторженных певчих, казался он куклой каррарского мрамора; вдруг на лице—тонкий вспыхивал огнь, нисходящий от бури раскрытого купола; руки, сжимая молитвенник, падали; мрамор с огнем сочетались как в этом соборе, который весь—пламенно мраморен. Все католичество—пламенный мрамор: в вершинах своих; оставлял на столетиях мрамор, а пламень развил от себя черный чад... инквизиций.

А вон, у колонны,—обвисший тряпьем монреалец в громадной, пустой не наполненной зале белейших колонн: под сквозным шестикрылием... Пусто. Но это—обман.

За колонною—шопоты: исповедаленок, порасставленных здесь; вы проходите: выставил из одной свою голову бледный аббатик и шепчется с мальчиком; щелкнули в воздухе черные градины четок; палящею песнью слетают от уст его шопоты: этот—фанатик; взглянув на него, мне припомнился лирик-монах, Джакопоне, бросавший в XIII веке на папу не строчки, а змей: его посадили в железную клетку; и папа стоял перед ней: „Джакопоне, когда же ты выйдешь отсюда?"—„Когда"—ты войдешь..."

Мне припомнился он.

И—другая картина: почтенный старик положил свою руку на красные плечи склоненного певчего, переминающего круглогранную шапочку красного шелка в руках; с перепуганным шопотом певчий, потупившись, кается; старый аббат отпускает его; яркий мальчик отходит, бросая немой укоризненный взгляд на меня, подсмотревшего тайну.

А дальше—процессия синих ребенков и отроков справа проходит в колонны: за мрамор перил; и процессия красных ребенков и отроков слева проходит в колонны: за мрамор перил; синий шелковый ряд с красным шелковым рядом садятся в резные сиденья: опять начинается служба—за главным престолом.

В приделе—семья; у громадной купели все возятся: ветхий священник, трясясь, на руках своих держит ребенка; ребенок, весь голенький, плачет.

А там уж—пристройка: в нелепые роскоши кружево вьет этот камень; и—дует тела беломраморных статуй; не ангелы это, а душки, надувшие щеки; то—стиль Jesuite, перепортивший поздний алтарь Martorana, ворвавшийся наглой пристройкой.

. . . . .

Амурами, грузно вошедшими в храмы, прославил себя иезуит, перепортивший церкви Италии с юга до севера.

Архитектура разрушена в нем: и тяжелые идолы статуй, блистая напруженным мускулом, входят цинически в церкви, круша строгий стиль, рассыпая его переплетом и выплетом; „стиль“ был введен Борромини в шестнадцатом веке; а Поццо приладил его к иезуитскому ордену. „Стиль“ появляется даже в соборе Петра; Мюнхен пыжится им; и ему служит Рубенс.

Своим завитком, хохотушкою, крадется злой иезуит; по церквам, по салонам, по кафедрам, тонко вветвляется в древо культуры, как плющ, отнимающий сок: занимаются кафедры богословия, философии, пишутся „детские игры“: в вопросах:

— „Как ездите, дети, на палках?“

Ответ:

„Мы садимся на древко креста; мы поем, отправляемся в небо.“

Так—мир дрессируется; тысячи верных адептов старательно пишут трактаты[1]); и вот: иезуит Беллармин начинает травить Галилея; а Штейн, математик,—Коперника; средь иезуитов ученых мы видим: Гримальди, Вико и Жозефа Босковича...

. . . . . .

Я—в пространствах огромного зала: пространства—темнеют; в тают; и хаосы плавают; там, где поставили в дни Рождества деревянную статую древней Мадонны (с луной под пятой)—огоньки: в огоньках кружевеет священник; и—что-то читает: под красные трепеты; куча старух собралась в выкликания, выставив страшно носатые лица из тряпок под лица святых, проступающих строго из мрака: блистающей искрой; вдруг шелест исжеванных губ, перервавши священные выклики, странно окреп: и уныло закончился воем; я—замер, старухи молчали: в огнях кружевея, священник выкликивал в красные трепеты; высилась молча Мадонна (с луной под пятой) в огоньках; огоньки колыхались; и—снова: как шелест осенних сгоняемых листьев, нашептами трогался с губ этот вой: желтокрасными листьями—в искры мозаики.

Дикую стаю старух в темноте—я запомнил.

. . . . .

И вышел: выкликивал в темные дождики колокол; странно молчал Монреаль, засветив огонечки; нашептами трогался ветер; трамвай разрывал где-то издали подо мной апельсинники: синими вспышками; горец, запахнутый в плащ, неприветно уткнул темный нос в темный плащ—в переулочке: храбро шагал я домой; и за мной глухо стукал каблук,—отдаваясь в затылке, как палка; в глазах размятежились ясности; в сердце—тепло, а в ногах—лютый холод.

---

[1]) По заявлению иезуита Алоисия Беккера, орден насчитывает 9000 писателей из своей среды. См. Ж. Губер: „Иезуиты“.

Жены дома нет; поджидаю ее из Палермо; и слушаю: чу! не ползет ли трамвай к «Ristorante Savoia». И—нет: это—плачется жесть подоконника, хлопают ставни и капают дождики в камень.

Монреал. 1910.

29. МОЗАИКА

Колориты мозаики—светлы, бескрасочны; думаю: краски в мозаике нет, потому что обычная краска—не жизнь колорита, который—игра преломлений (цветов) оттого - то; отсутствует красная краска в закате; все то, что мы любим в природе,—оттенки; их целостность и жесте природы; она, как улыбка любви; нашей краске дано сокращение мускулов, производящих улыбку; то хохот, иль рев: то—потуг мимолета природных улыбок; поэтому: краски цветов—карикатура на светочи колоритов природы; плэйер есть пустейшая фикция городских неврастеников; пуэнтилизм—то же самое; живопись—не искусство цветов; и нет чистого цвета, как цвета, в той краске, которой художники пишут; стремление разроить четкость контура в точки—сплошной атавизм: возвращенье к мозаике; то, что сверкает в Сан-Марко, в Софии, и в С. Витале Равенны, чем блещет собор Монреаля—естественный пуэнтилизм, или светопись; красочный мир—светописен; и живопись, если она есть воистину живо-пись, то она не влагается в цвето-пись, потому что цвета—в колорите, а вовсе не в краске, где воздуха нет, где эффекты слияния светов, рождающих мороки красок в волнениях воздуха (та же земля—то сереет, то—яснится, то—розовеет),—погасли: осели грубейшей материей, статикой, иль—скелетами цвета в желании призрачно обессмертить себя; порывания к чистым эффектам слияния красок есть мертвопись: капуцинское кладбище!

В пуэнтилизме и прочих новейших течениях красочный крик есть „подвешенный“ цвет; это понял я здесь.

Белый цветик слагается белым от бисера воздуха; им он

пронизан; и вовсе не в красящем пигменте **белое** цветика; розовость розы есть жест ее жизни: придет физиолог; и скажет: „Кислотность—реакция, действие". Розовость розы—жест жизни: не краска; и **синее** астры—другой жест (он—щелочность); тот же цветок в разных почвах, то—синий, то—красный, а то—фиолетово-пурпурный; если бы мы создавали искусственно в анилиновых красках не краски, а вспышки их **множеств**, что есть в колорите, тогда бы и живопись, не превращаяся в мертвопись, стала бы вещим искусством цветов.

Но искусство цветов,—не она, а—мозаика. Цветики суть зеркала световых переливов: их сложности (**зелень** растений есть жесты питания светом[1]) и цветик—живое искусство природы; цвет камней—химический жест; но химический жест—ритм вселенной: градация цвета в седьмой, металлоидной группе (фтор, хлор, бром и иод) есть градация; светлое, желто-зеленое, красное, черное; и она соответствует ритму атомных весов: 19, 35, 80, 127; а блеск бриллианта есть жест превращений: аморфной материи угля в сиянье **кристалла**.

Цвета—**колорит**; **колорита** в искусственной краске нет вовсе: так, краска, во-первых, абстрактна (она лишь ничтожная часть колорита, продукт разложенья его); во-вторых: материальна она; в ней игра свето-воздуха грубо размешана мутью веществ, как вода грязным илом; и мутные струи суть влага: но в них отражения нет; в третьих: нет кристаллической краски: все краски—аморфны; хороший художник не станет размешивать синюю акварельную краску с такою же белой; его **голубое**—без примеси; чистая цветопись—тоже без примесей; примеси к цвету суть краски.

Поэтому живопись есть искусство, которое не сводимо на цвет; у нее есть другие задачи; она—**колорит**, т. е., целостность из цветов, из сюжета, из контура;—но абстракция материальной культуры в двадцатом столетии отложилася видом болезни: стремлением к **чистым цветам**.

---

[1]) В хлорофилле, придающем растениям зеленую окраску, находим крахмал.

Само слово „м о з а и к а“ происходит от слова «museion», что значит: «музей», иль—храм муз (старо-русское «мусия»); материал для мозаики собственно—камень (хотя и стекло—вещество для нее); есть различные способы мозаичной работы (мозаика штучная и наборная); из натурального камня вторая (из яшмы, порфира, агата, из ляпис-лазури); в орнаменте видим рождение форм, предваряющих живопись; а в мозаике видим гармонию орнаментальных мелодий; в динамике линий, в орнаменте собственно, связаны, как листы в черешке, жизнь мозаики с краскою: и потому-то мозаика—зарождается в архитектурном орнаменте.

Ниневия, Египет зачатки мозаики знают; уже в пятом веке встречаем мозаику в Греции. Римляне рассыпают мозаику в Африку; ею блистает Помпея; разбрызгал по-новому блески ее пятый век новой эры; потом появляется золото фонов ее; а сперва фоны—синие; пол составлялся набором естественных камней; орнаменты стен набиралися чаще из стекол; мозаика—цвет; оттого-то и тень избегалась: в мозаике тени—цвета; мозаический блеск угасает в Италии; только в двенадцатом веке мы видим—взрыв блеска. И ряд мастеров восстает (Фра Якопо да Торрити, да-Камерино и Гадди); Джиотто еще в ее сфере.

Потом—упадает мозаика: внятность задач в ней утрачена: отсветом ей посторонних задач (живописных) становится светопись: Бальдовинетти, Пезелли, Цуккати, Бьянкини и прочие мозаичисты позднейших веков постепенно роняют ее несказанную силу[1];

Лицо—в чем его несказанность? В глазах? В чем глаза? В мимолётном блистании взора: в игре; без игры, без у д а р а по сердцу пленяющих глаз.

— Нет и глаз: есть гляделки.

В з г л я д глаз (не глаза)—свет цветов красоты; взгляд же—целостность, неуловимая сумма сложений в с е г о, ч т о в н а с

---

[1]) Сюда о мозаике: Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. Т. 26 „М о з а и к а“. La Vielle „Essai sur la peinture en mosaïque“ Айналов. „Мозаика IV и V века“.

есть: а глаза (иль гляделки) абстракця цельности; так и в мозаике цельность, иль свет, говорит переливами красочных светочей: тайна мозаики есть тайна взгляда; а краски мозаики— только гляделки: здесь карие, синие—там.

Ее взгляд сквозь цвета, воплощенные в краски, я видел: и взгляд тот обжег. Кто-то там из блистаний цветов посмотрел в мою душу: вспылала, как уголь, душа; и горит, и горит светлой памятью; зори мозаики—пламень пожара души, чтоб из этого пламени в сердце сложился: кристалл бриллианта.

Грааль—есть кристальная чаша; слезой из венца светоносного духа скатился кристалл: так гласит нам легенда.

Кристалл выражает слепительность света в игре преломлений, иль в радуге; видел радугу света незримого: Радуга это—собор Монреаля.

Я понял, что здесь, среди радужных игр, есть взгляд света, зов света, сон света.

Но он мне невидим: он—тайна Грааля.

Ее—мне... разгадывать?

Тунис—Москва 1910-1919.

30. „RISTORANTE SAVOIA"

Докучливы визги ветров: будто рой комаров; нам так холодно: край рукомойника, ставни, задвижки—железны: скребутся о мраморный пол; какие скрепит подо мной; я взираю на плиты холодного пола: какие красивые плиты! Но—плиты кусают мне кончики ног белым льдом.

И—красивые окна: но окна—разбиты; и дождик наплескал под окна блестящую лужицу; я—вытираю ее; но она появляется снова.

Повис „Ristorante Savoia" над склоном; склон—крут: он оброс апельсинником; вижу из окон порою Палермо: и цвет лабрадорный хорошенькой бухточки; чаще же—нет ни Палермо, ни бухты, ни рощи, ни гор: все—дымится; сырые плевки из окна попадают в меня.

Опускаю глаза я на стол. Я пытаюсь писать, но замерзшие пальцы роняют перо, и огромная клякса садится на рукопись; хлопаю громко в ладоши: тогда появляется в дверь туповатого вида лакей, чтобы выслушать горькие жалобы: за миллионы терзаний нельзя добродушно уплачивать по шестнадцати лир в одни сутки; я требую, чтобы нас в „Ristorante Savoia“ избавили от смертельной простуды: лакей меня слушает, очень покорно; двусмысленно улыбается он и уходит.

Я—падаю духом: я все предпринял, что возможно в таких обстоятельствах: требовал, умолял, угрожал; меня слушали, улыбаясь двусмысленно: нам остается уехать отсюда. Куда?

На столе появляется карта Тунисии: мы изучаем Тунисию: вот где тепло... А уѣхать не хочется: старый собор приковал нас к себе: от подвешенных капуцинского кладбища и уродов Багерии спрятались мы под туманом: скелеты, тележечки, мрамор, цветы, христианские „святости“, краски—все это смешалось в какую-то серую краску; и—вот засерел Монреаль: пеленою туманов.

. . . . .

Палермо так красочно; краски еще не составят искусства: они—только палитра; целостность палитры в белом воздушном луче, преломляемом колоритами; и колорит ясных воздухов поражает в Палермо, не оседая на город; о нем пишет Гёте: „Никакими словами нельзя описать ясность насыщенной парами атмосферы, носившейся над берегами, когда мы... ехали к Палермо. Чистота контуров, мягкость общего вида, распределение теней, гармония неба, моря и земли—кто видел это один раз, тот не забудет во всю свою жизнь“[1])...

И—далее: „Италия без Сицилии не образует в душе никакой картины; здесь ключ ко всему“.

Но неужели тот ключ—пестрота?

Пестротой разболелись глаза: как компресс на больные глаза мне упали туман и дожди в Монреале: глаза прояснились—и ко-

---

1) „Путешествие в Италию“.

зоритами радуги мне воссияла мозаика купола, пересекаясь воздушно в белевшую точку престола.

И цельность—возникла мне.

. . . . .

— „Ай!“

Вновь нога моя—в луже, наплаканной дождиком: прямо под стол.

Помню: нам принесли вчера печку с трубой, проведенной в окошко; и мы—угорели; мне вынесли печку, ее заменив тазом с красными углями: жизнью жены дорожа,—я все это убрал. Мне поставили керосиновый согреватель: но он так коптил, что мы стали черней эфиопов; его за негодностью вынес лакей; и тогда, в одну бурную ночь, ставня хлопнула: стекла со звоном распались; мы их заменили бумагой.

И вот, покоренный, сижу под разбитым окном, глядя в светлые прорези мокрой картонной бумаги,—с горячей бутылкой в ногах и с горячей бутылкой под курткой; бутылки—остыли.

Опять предо мной—туповатого вида лакей; утешает меня; и приносит преснейшие корни: ф е н о к к и. Жую пресный корень и думаю, что переносней: угар или холод.

Монреаль 1910.

31. МОНРЕАЛЕЦ

Как оскал челюстей,—Монреаль, притаивший во многих зубах (иль домах) монреальца, который в нем водится, мрачно таясь, как разбойник, и мрачно тая свою женщину: прячутся женщины.

Нет молодых; коли встретишь, то—встретишь испуги в глазах да... потупленность взора на очень губастом лице; а старух—сколько хочешь: они выливают помои на улицы; старый старик засдает глазами—прохожих, туристов, меня, будто я и турист, прижимающий красный Бедекер, исчадия ада; и мне вспоминаются сказки далеких времен, суета суеверий; „Dialogus Miraculorum“ Цезария Гейстербахского жив еще здесь: и тринадца-

тым веком провеет вдоль улички: этот прелат, проходящий по уличке, может быть, он есть епископ Фома Кантимпре, изложивший в своем сочинении быт суеверий[1]) и описующий точно субстанцию и анатомию инкуба.

Страстные инкубы здесь похищают доселе подростков: молоденьких девушек; блещущий взгляд и больной, лихорадочный облик я видел у девушки: в старой капелле; наверно ее мучит инкуб; Спаситель избавит ее:

Moy dois aymer le fuis tresbiau
Bonset douz noble et laiau[2]).

А у диавола голос—куриный; жужжит себе мухой и скачет... блохой; пробежит петухом или... пылью, крутимой по улице; прыскает дождиком; тащится снизу, сжимая Бедекера томик; я, появившийся здесь,—тоже диавол: Мадонна спасет от меня; в ее культ, точно плевелы, здесь вплетены ритуалы Церериных культов; патрон же скотины, Антоний,—какой-то Нептун.

Да,—девицы попрятались; злобно старухи заели глазами: бранятся из окон; пойду—все попрячется; в дверь озабоченно высунет нос полумертвый старик, вьющий гнезда в своей каменистой дыре; и—ломающий камень в котором ютится и бледная девушка с губастым лицом, исцелованным... инкубом,—и из котораго строят капеллы; они неуклюже ютятся средь уличных арок, расправив оживы, раскрывши объятья своих полудужий, украсясь розетками: серыми кучами.

Видишь такую капеллу, и вовсе не сразу ее отличишь от соседнего дома; порой отличает ее только крест; почему то решили мы, став предъ одною такою капеллой, что в ней—ворох древностей; служка с ключом проскрипел непокорною дверью, дохнувшею сыростью: очень старинных предметов здесь не было кроме риз, шитых золотом наподобие риз униатских (какие мы видим в Полесье); он вытащил их из комода; мы щупали ризы.

[1]) „De natura rerum".

[2]) Л. Шепелевич: „Очерки из истории средневековой литературы и культуры". В. I 1890.

Мы вышли в туманы...

Повсюду—рост дикости в святость, как рост толстых кактусов в окнах капеллы, которую бросила жизнь: сочетание серого цвета церковной стены с серым цветом тумана; святой на стене, намалеванный грубою кистью—сплошной монреалец в плаще (а не в ризе); обратно: святеет носатый старик, поклоняясь хоралу в капелле; хорал—вырывается в двери: и—бродит по улицам; ветер, упавший прыжками с уступов на дремлющий город, проходит—хоралом: по залам; и, тронувшись, точно деревья, исходят канонами красные клирики; ходят, как шелесты, стаи пылающих певчих в синеющей сени молчащей мозаики, где Иисус, синеблещущий; встал во всю стену (по грудь), приподнявши десницу с двуперстным сложением; красные клирики, скромно надевши плащи, вереницей проходят, белея на улицах лицами; в кругленьких шапочках,—в тусклый свинец набежавшего облака: все задилинькает; в облаке благовест мощной блаженной волны; то—таимый собором орган запевает из тусклости дальними ревами; все—отгорит, отдилинькает: все это—ветер, провеянный вниз шелестением шелковых ряс: над кипением зеленеющих масс перекрюченных древних деревьев.

Как четки, защелкали дробные градины в мрачные впадины камня и в окна домов; трещали трещотки в волокнах тумана; попрятались, впёртые в щели домов, монреальцы; таятся под камнем, жуками; а стертые пальцы немых колоколен готовятся выкрикнуть: чорт, намахавший трескочущий град красным томиком,—я.

Да,—я стал суеверен.

Мне видятся скверные сны: кто-то молча стоит за дверьми наших комнат; селится за толщами стенок и злится из тучи; скрежещет металлом; поймай его,—скроет лицо полосатый, свисающий плащ; это он—монреалец.

. . . . .

Из черных расколотых гротов простукав гвоздями подбитым своим каблуком, он проходит,* как гном—надо мной, подо мной; его выперло щедрое недро; стоит крепышом, из-под носа рас-

ставивши баки, в плаще и в платке, многократно обвернутом и образующем толстые толщи вкруг шеи,—зеленом, зависнувшем за спину бахромою... над курткой; кургузою курткой, метаемой бурею, треплется с выступа; в воздух; склонясь полубритым сердитым лицом, между баками стиснул висящую трубочку; тростниковым ее чубучком он по воздуху пишет параболы, дуги, гиперболы... вместо гортанного слова...

Мне—странно.

Туманные кучки выходят на плоские площади—там пред собором; глядят пред собой немигающим взором; то—хором читают летучки церковных посланий; махают друг другу коптящими трубками.

Прет капюшон без лица, не пришитый, а скроенный из куска черной ткани; тропою нагорной идет он вперед из кольца облаков, подымающих зов колокольный в тумане; и кажется, что у него не лицо,—а сплошное ничто; и оно, очадялось сквозное, не наше (*иное!*), плащом обложивши себя; опустив капюшон в пролетающий сон, забродило: нечистою силой по улицам: это—лихие стихии: не люди.

Аббаты со шляпами, порыжевшими на краях перемятых полей, и со шляпами в легком плюмаже, проходят в огромный собор; преклоняются темные облики перед летящими ликами блещущих ангелов; или—в капелле свершают молебен под грубой мазнею носатых святых в шоколадного цвета одеждах.

. . . . .

Собор наполняет всю жизнь монреальцев: он—место их встреч, их молитв, наслаждений, досугов, доходов; дворец, каких нет больше в мире, зовет бедняка; за чентезими он получает плетеное стуло: сидит в нем часами под пламенным сводом: под сводами паперти—клуб: раскуряются трубки, свершаются сделки, встречаются новости; многими входами—входят: под пестрые повести сводов собора; на площади ходко торгуют открытками. Нет в Монреале кафе-кабарэ, нет кино; только друмные службы, да трубы органа, да шелест шеренги восторженных певчих (и синих, и красных); резной, кружевеющий дере-

ном трон; и над ним балдахин, кружевеющий деревом: с древней резьбою; проходят процессии; древко хоругви летает над пропастью пурпурной лопастью; под колокольней народ богомольный за шитыми ризами бродит, как стадо овец, и—на прущую землю железной молнией падают звуки собора, как... звуки мечей, рассекающих землю со звоном, и—ранящих; красными ранами смотрят в зорю краснобокие домики; в переплетенные томики что-то бормочут два толстых каноника, перебегая по красному боку стены:

— „Ди-динь!"

— „Дон!"

Монреаль 1910.

32. ЛАБИРИНТЫ

Пора опускаться: я—вымок.

Схожу.

Поднимается розвалень старых, бескрыших домов; и уж высится впадиной двери пустая капелла; из впадины двери мечаются камни: один пролетел мимо носу; и стая курчавых мальчишек—бросается, давит, толкает меня; тормошит и галдит, умоляя и требуя денег:

— „Signor"—умоляюще я обращаюсь к прохожему: под капюшоном.

— „Signor"...

И я вижу: заострину носа из темной дыры капюшона; дымок раскуряемой трубки кидается облачком—там: из дыры капюшона; сплошной капюшон, не внимая мольбе, пробежал в закоулок. В кирпично-коричневом камне—кричащая стая мальчишек кипит пестротой.

Ободрал свои ноги о камни; споткнулся; уже вечереет; уже набегают жилые дома; и тусклится фонарик желтеющим глазом, исполненным влагой лучей на изогнутом стержне, свисающем с башни во тьму закоулков, где вскрылась квартира две-

рями на площадь (весь первый этаж—безоконен); в распахнутой двери за пёстрою скатертью вся заседает семья; но хозяин, увидев меня, закрывает растворы; глухая стена предо мной появилась на месте квартиры.

Угольник большого, тяжелого куба сложившихся стен, вызывающих в памяти форму тунисских построек, пузатится кружевом крепкой железной решетки; дома, отступя друг от друга, простерли объятия арок, ожив, нависающих дуг, полудужий, *слияний* из камня, восходов и *спусков* на крыши нижайшего яруса, где колоннада—

—приводит—

—в лавчонку!—

—проходишь под аркой:—в тупик безоконного дворика, перелезаешь по круто взбегающей тропке чрез стенку—в рои переходов: бежишь через них; попадаешь на площадь—не более комнаты!—круто бегущую в крышу природными плитами с малым бассейном, исполненным чистой воды, извергаемой каменной чашей; ручей побежал через площадь, жужукаясь битыми стеклами пенного водопадика в стену. Стена!..

И на ней намалеван носатый святой, преклоняющий нос на костлявые пальцы; он молится желтой полоске, протянутой с о к а лучом благодати; рука человека развесила вокруг полукруг апельсиновых веток с засохшим давно уж плодом; и такой полукруг засыхает в соседней темнеющей нише: под ним—повисающий Спас изливает кровавые капли из проткнутых ребер.

Из желоба тонкой перловою струйкой ручьится отрадная влага.

Сплетение уличек, крыш и заборов невнятно; проходит процессия с диким хоралом; воскликнули сумерки; колоколами разбегались; перепугались и—смолкли...

Монреаль 1910.

33. ПОД МРАМОРНЫМ МОРОКОМ

В мире тумана мы прожили суток двенадцать, едва согреваясь от холоду; грела мозаика заревом; встретили праздники.

Раз опустились в Палермо.

Напали на нас: ресторатори, гиды, cocchiere, мальчишки; и — так себе люди; под яркими арками в зареве мрамора острые нестрости тешили: те пили—плотными плитами пылкие яшмы; и синии линии ластились ляпис-лазурью; стена пурпурела порфиром.

Блеснул „Национальный музей,“ заслоненный служителем, что-то трещавшим из морока мраморов; в зареве ярких ударов громового камня открылись дворцовые комнаты—плотными плитами красных порфиров, сплошными кругами пылающих яшм; проходили аллеями парка; узорчато высились синии линии пинии—над лабрадоровым-морем.

Из мрачного морока Монте-Реале мы пали под яркие арки; пылало Палермо под заревным маревом мрамора, падая—в мраморный наговор волн, лабрадорово синих.

Запомнились: множества мебелей, множества тонко-точеных медалей, камей и немеющих гемм; полихромными, томными гаммами все это пело и рдело; кусочек угаснувшей жизни свою выборматывал быль.

. . . . .

Никакая история столького нам не расскажет; монетою, мебелью, перламутровым веером веяли многие мысли; и сладкой загадкой украдкой входили нам в души: событием жизни, которому я подтверждение встретил позднее, пропели предметы: камеи, монеты, мозаика, мебели, вазы и воздухи; так—я узнал, что Сицилия место, горящее взором Клингзора: узнал из летающих ляпис-лазуревых далей; узнал: из узоров мозаики вылезли свежие фрески Джиотто; они с ними связаны.

Слушая говор предметов, мучительно учимся: чуткости; медленно мы прорастаем во тьмы подсознаний своих, отрешаясь от зыби поверхностной мысли; песком осыпаются мысли, внушенные чтением книги; увидев предмет, мы его обнимаем душою и—ждем, что он скажет; и он говорит:

— „Я—вот это!"

Прочтенье предметов приходит потом: о предмете не думаешь; вдруг он, как звук, проницающий круг наших мыслей, возникнет; расскажет историю нам.

. . . . .

Я не знаю, чем скажется, „мебель" запавшая в память, как ухнувший звук: я отдельных предметов не помню, но общее целое мебели, медленным пением в Лете забвения слышно...

Мне тягою в выси воскресла резная неяркая арка над креслом епископа—острым готическим шпицем над лицами: юной Мадонны, Христа, Синагоги,—иль Девы с разбитым копьем и опущенной долу главою (повязка лежит на глазах).

Нет типической готики в мраморах белой скульптуры Палермо: амуры барокко! И нет здесь готической мебели.

„Сталь", или сдвиг кружевеющих кресел собора—соцветия кресел!—резьбою работы пленительно радуют взоры; пятнадцатый даже шестнадцатый век изукрасился „сталями"; „сталь" палатинской капеллы доселе во мне кружевеет резной церемонией линий,—из странных органных гармоний.

„Credence"—тоже помнится: шкапчик церковный, хранящий сосуды,—двухстворчатый, крытый резною работой: узорчатой, тонкою; что-то напомнил он мне, только что вот? Не знаю... и „stalle", и „credence"... Я увидел сперва их: потом стал разглядывать в книгах их линии; стал я читать описание их[1]).

Не готической мебелью славен Палермо: века Возрождения в нагромождениях, в пениях линий—стоят предо мной: мозаический, весь в финтифлюшечках, столик „panneau" ренессанс разбросал: по порфировым плитам палаццо; „cassone"—сун-

---

[1])Pabst. „Kirchenmöbel des Mittelalters". Falke. Mittelalterliches Holzmobiliar

дук, весь лепной, грациозно танцует на лапочках, встав над „scabello“ скамейкой; кокетливый треск перламутра и хруст инкрустаций: порхают в глазах стрекозиные крылья его; розовеют легчайшие козетки в сквозных павильончиках парка.

Довольно о мебели; над итальянскою мебелью много работали: странный Учелло, Джиорджионе, дель Сарто, Лука Синьорелли[1])

В Палермо напомнили лица богатых аббатов мне ломкие профили звонких медалей; в Италии ряд медальеров доводит чеканку медалей до тонких рыданий и трелей мелодий; там Гвидицани чеканит медали в Венеции; ряд медальеров (Бертольдо, Спинелли) чеканит медали до плещущих песен легчающих контуров, до „паутинника“ Бенвенуто Челлини (шестнадцатый век, как во всем, здесь сказался разливами линий).

Но более всех прославляет медаль Пизанелло—в пятнадцатом веке.

Шестнадцатый век кружевеет полнее на мраморах.

Яркими арками прыгают мраморы: город Палермо есть мраморный наговор; я оглушен под ударами мрамора: бросилось за море зарево мрамора над лабрадорами громкой волны.

34. ДО ТУНИСА

Не хочется встать из постели; я слышу; из горного облака горьким фаготом горланит над городом голос: сплошной гололедицы; ставня качается режущим скрежетом; наш „Ristorante Savoia“ скрежещет железными окнами, точно зубами; запрыгало пламя огарка; темно еще; пятый лишь час.

Но пора—доложиться: еще сундуки не закрыты: мы едем таки; мы услышали зовы Туниса; Тунис представляется мне бирюзовым: туда—в бирюзовые зовы *Туниса!*

Пора...

. . . . .

---

[1]) Bode: Die italianischen Hausmöbel der Renaissance. 1902.

Мы без кофе выходим во тьму; „cochiere“, оправивши упряжь, взбирается над фонарями; качаются шаткие козлы; и тьмою одет Монреаль; мы сидим под брезентом пролетки, уже барабанящей дождиком; нет никого на дороге; часа полтора опускаемся; щебень скрежещет; и—щелкает хлыст.

Забелели рассветы; где было сплошное ничто, проступают окрестности: пасмурно, пасмурно. Пасмурен вид „Villa Taska“; и—еле алеют соцветия кактуса.

Вот уж „Corso“.

Вот—„Porta Nuova“: из желтой стены разлапошилась пальмочка; ветер, который бил в спину нам, вертится быстрым винтом; и стремительно ударяет на нас: от кипящего моря; играет заря лабрадорами волн.

В сиротеющей гавани слепо мигает фонарик открытой кофейни, да бродит вдоль гавани сторож: сосет свою трубочку.

Где пароход? Никого.

Засыпающий кучер слагает кардонки на мол; я—даю ему лиры: и он—отъезжает. Куда нам деваться от ветра? и где—пароход? а—вот он!

Какой маленький!

Черная точка уже от него отделилась в тумане: она направляется к нам; это—лодка: она уже близко: и кто-то кричит нам пронзительным голосом:

— „Scilla?“

Кричу:

— „Scilla“...

— „Trapani?“

— „Trapani...“

Это—за нами.

Там лодочник показует веслом: вдалеке-вдалеке пароход с золотою звездою на мачте; под ним лабрадорная влага играет зигзагами; весла взлетают: качается лодка, качается нос парохода, качаются: берег и—серые плеши горы; головой бьется в воздухе белая птица.

Прощально глаза протянулися в хмурые сумраки гор: и на месте, где спит Монреаль,—темносиняя туча; над ней побелели за ночь гребенчатые линии верха: снег выпадет, верно, на-днях в Монреале.

. . . . .

И вот мы на «Scilla»: она оказалася старой скрипучкой; зимой пароходных сношений с Тунисией нет; и—приходится ехать до Трапаи на старой торговой калоше; пуст—первый класс; пуст и второй; мы—вдвоем, и грязнеют под нами из тряпок на палубе третьего класса какие-то люди; и бегает малый «бомбино»[1]), кричит и шатается в крепнущей качке; уже зарывается нос; и—взлетает корма.

Малой точкой Палермо сжимается; прячется в бухте; уже Pellegrino, меняя свой контур, отрезало бухту от нас; и—пошло себе прочь, умаляясь, задвинувшись мрачными взгорьями красных крутых берегов, выбегающих мысами: выбежит мыс, угрожает отрезать нам море, оскалит крутое свое гребнерожие; и защищает подножие; в хлопанье волн оттеснится; и—втянется мыс: огибаем, качаясь, все мысы.

Зеленая кубовость волн, отливаясь сталью и мрачно чернея изменчивой впадиной, силится размахнуться; и—прыгнуть с размаху чрез борт; я, держася за борт, упадаю: вдруг борт начинается валиться в обратную сторону; гребень горы быстро втянется вниз подо мною: на уровне облака мы; хлоп и хлоп: бортом срезан клочок прокипевшей волны, упадающий белым кипеньем на мокрые доски грязнеющей палубы: плачет „бомбино“ под палубой первого класса.

И снова вздымается черная из текучего камня огромная водная масса, вздувая свой гребень и угрожая всей каменной тяжестью нас раздавить, навалившись на борт; но она, упадая, пропала, а борт—завалился: клочочек кипения, срезанный, свищет меня по щеке ледяным и горчайшим шлепком: мои губы—соленые; я залетал: или, лучше сказать, залетали окрестности;

---

[1]) Мальчик.

пляшет кругом горизонт: безалаберно пьянствуют синии линии; в грохотах все разметается; пышные кипени шипами хлопают, лопаясь, белою пеной; и пена воронкою втянута: в чернозеленую бездну воды; бирюзеет под нею, синеет под нею: съедается ею.

Мне—холодно: я—ухожу; я—в каюте: пытаюсь заснуть: поднимаются ноги, срываяся вбок; опускается вниз голова; побежала она под ногами: и—хлопнулась в стену; кардонки над ней нависают угрозой; и вот—все меняется: вновь опускаются ноги, кардонки стремительно вниз побежали: под ноги; моя голова, завалившись, свисает угрозой над дрожью кардонок; и—прыгает малый графинчик; и хлопают сами собою глупейшие двери.

Заснул.

. . . . . .

Просыпаюся: ноги уже не взлетают; спокойно протянут страдающий профиль жены предо мною (ей качка вредна); уж четыре часа пополудни; я—снова на палубе.

Мягкие контуры белых совсем умалившихся гор подошли; и—стоят неподвижно; вот белые стены домов (иной формы) и—пальмы.

То—Трапани.

. . . . . .

Нас перевозят на лодке: к гиганту „Solunto"; „Solunto" отходит в Тунис; на „Solunto" меняется стиль; всюду—роскоши; зало блистает; рояль посылает рулады; „Solunto" наполнено: вот—англичане, вот—немцы; все говоры густо осыпаны искристой солью: французская речь!

Пароход не качает: и быстро летит освещенная ночь...

. . . . . .

Шесть часов. Мы стоим в африканском заливе—в зеленой воде, среди гор всех оттенков; направо—в туман убегающий мыс: Карфаген, а налево двурого изгорбленный мыс: это—Добрый.

— „Тунис?"

— „До Туниса—далеко".

Мы—медленно движемся; мимо проходит белеющий город Голетта, делящий спокойные воды—на воды залива, и озера озеро—Эль-Багира; вырыт фарватер: мы медленно движемся в узком фарватере; скалится скалами остров: то—Зембра.

Проходят, мутнея кругом, мелководья, белея спокойными мелями; на берегу из казарм маршируют отряды зуавов, краснея штанами и фесками; бьют барабаны; вон там—минаретик; он—белый, как снег; и как снег пробелел куполок из густеющей зелени; нам до Туниса осталось не менее десяти километров; зеленое зеркало озера пересекается молом; по молу бежит миниатюрный квадратик трамвая: к Голетте; вода опушилась, там, издали, розовым пухом.

— „Что это?"

— „Фламин-го!"

Тунис 1910.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Тунис

35. TUNIS LA BLANCHE

„Tunis la blanche“!

Та надпись мне кидалась явственно из всех витрин Туниса; и белые пятна кидаются вновь, когда я вспоминаю Тунис; он—снежайший; он—пятнами домиков ест нестерпимо глаза; я сажусь, чтоб писать о Тунисе: и я не умею еще осознать впечатление морока дней; я единственно знаю, что—белые дни, и что—белый Тунис; да, он внутренне белый; и вместе: он белый для внешнего взора. Таким он впервые возник; и таким он стоит предо мной.

Белей города нет: быть не может!

. . . . . .

Мое приближенье к нему обеляло мне местности. Трапани явно белее Палермо; Голетта белее, чем Трапани; но и она серо-желтая перед Тунисом; в котором, как кажется мне, каждый день обеляют дома, точно наши мазанки на юге России.

Увидев Голетту, сказал я себе:

— „Нестерпимо бело!“

Но меня повернули; и—вдаль указали залива; подумал: какой это там, меж холмов, лежит снег? Голубела туманная дымка; и таяла: а оснежение, выдаваясь рельефом, белело, белело, белело, а—Господи! Есть же предел белизне!

Я предел этот знаю теперь: называю Тунисом его.

. . . . . .

Пароход подбирался медлительно к белому берегу; думалось: вот—прожелтится; вот выпадут розоватые, коричневатые сицилийские пятна; и—нет: незапятнанно,—белая ткань выплетает под синее небо у синего моря рельефы свои; начинает съедать мне глаза; меж рельефами вот выступают как будто нежнейшие голубоватые тени, каймя полукруг (это—купол), каймя здесь и там прихотливо сложение белых квадратиков (домиков), маленьких кубиков, кверху подставленных; то минареты; вот город возник перед нами, как белая плиточка; он—облицован: он—выложен камнем.

Уж пароход придвигается; справа и слева, и прямо, и выше (на склонах холмов) все дома, купола, минаретики, башенки; плоскости проблистали крикливей; меж ними затаяла белость, как снег по весне; проснинела тенями; и, выдавив кубами домиков плоскость, в пространство чернела синейшая тень; и Тунис, забелевши до ужаса ребрами, гранями, крышами явственно стал углубляться: проходами, переулками, глубиною кварталов своих средь волнистого очертания гор и свободно раскрытых долин, где из зелени ярко топорщились куполы м а р а б у, иль гробничек блаженных, святых, юродивых, начетчиков; именование м а р а б у соединяет все эти значения слов; вон—башня (не дом), иль система взлетающих кубиков, строящих башню, глядит над оливками; я по привычке ищу пестрых тряпок—на крыше, на окнах; но тряпок Сицилии—нет; все—и строго, и чисто; вон—многие домики; все, что ни есть, прибежали к огромному озеру; точно гиганты, белея бурнусами, крепко задумались.

Что они думают?

. . . . .

Близок уже берег: и тут,—вблизи берега видим: по белой развернутой складке бурнуса ползет, расширяясь, желтея пятно, точно... грязь: европейский квартал; набегает на нас, обстает; и коробки в четыре иль пять этажей, задымив дымогарными трубами, нам заслоняют видение белого города; трубы, и трубы: фабричные, пароходные, так себе трубы; под ними на пристани:

рой пиджаков, котелков и цилиндры; мелькает бурнус; б у р ж у а его сжали, оттиснули.

Ах, отчего загрязнили Тунис здесь, у берега?

Вот перекинуты сходни: мы—сходим.

Тунис—где Тунис? Не Тунис, а Париж: нас каретка помчала по „avenues“; широчайший проспект, широчайший бульвар; экипажи, трамвай, шляпы, перья, кафэ; и Boulevard des Capucines возникает мне в памяти; легкий усач в черной маленькой кэпи и в черной тужурке, крича краснотой панталон, провожает кокетливо даму с осиною талией; старый, рассеянный старец в цилиндре вон там развернул у витрины „Matin“; то—Париж, не Тунис!

И мне кажется странным, что я из Палермо (провинции) прямо попал на проспекты столицы (Парижа)—здесь, в Африке; вижу на всем стиль Парижа; порою кокетливо пробегает экзотика в виде картинных арабов, краснѣющих красными фесками; длинные кисти лежат за плечами; просунулась кисть за витриной, гдѣ пестрая вывеска: это—Bazar tunisien“; но в Парижѣ „Bazar tunisien“ есть наверно.

Мы едем по avenues Jule Ferry; на avenues „de France“ продолжается громкий Париж.

Где Тунис? Купола, минареты, мне евшие глаз белизной—где они? Или все—поднялось и рассеялось легким туманом, оставив французскую прозу; у пристани, только у пристани вырос Париж.

Но он все заслонил.

. . . . .

Вот из всех переулков теперь потекли к нам арабы, вливаясь в толпу европейцев; гортанные выкрики перекричали жужжание тощих французов; и Porte de France открывает преддверье Туниса; Тунис начинается—здесь; „avenues“, где мы ехали только что, явно пристроено; поздний, „парижский“ Тунис возник двадцать лишь лет на осушенном малом участке туниского озера; но он—встречает; он—мал: и пока вы в нем бродите, кажется вам: вы—в Париже; огромный, арабский Тунис отте-

снен от воды наглым выскочкой; у Porte de France он кончается: Place de la Bourse открывает в Париже-Тунисе, желтеющем, дымном—белейший, снежайший, причудливый город; на рубеже двух Тунисов—отель: отель Эйшон; сюда мы приехали.

Дверь распахнулась: араб в шароварах понес наши вещи,—в прохладу, в уют, в изразцы; изразцовая комната смотрит открытою дверью в прохладный немой коридор. Мы—снимаем ее.

Тунис 1911

36. ИЗРАЗЦОВЫЕ СМЕХИ

Открыты глаза; и—закрыты опять: полусон; впечатления раннего утра неясны; лучистая сеточка солнца настойчиво брызнула в щель жалюзи; налилась в рукомойник; и—солнечный зайчик оттуда как выпрыгнет на глянцевитые изразцы пола, стен: васильковые петушки в зеленеющих шашечках; желтые шашечки блещут меж ними:

— „Тунис!“

Так я думаю: и—закрываю глаза; но сквозь сон за стеной стоголосые говоры бьются мне в уши уже; и скрипенье арабы (арбы) раздается под окнами; шарканье, шлепанье туфель, гортанные говоры; все это спать не дает.

И—„иррр-иррр“ раздается отчетливо: это опять понукают осла, на котором средь груды плодов (апельсинов, бананов, гранат) и раздутых сосудов с водою сидит белоглавый араб; мне не спится: вскочив из постели, бегу по синеющим, зеленеющим, желтеньким шашечкам пола (он—скользкий, холодный) к окну: открываю окно на арабскую уличку; пестрые пятна—где белый Тунис? Он—распался на радугу красок; он издали белый; вблизи—глянцевитый, фаянсовый, радужный.

Так и араб: как накинет бурнус,—привиденье, белейший туман; распахнется—оранжевый, синий, голубоватый и розовый он; и тунисская уличка: издали—белая; если приблизиться—пестрая уличка.

Комнатка пестрая тоже; она—желтосиняя; и желтосиний букетец на столике; скатерть, как все, желтосиняя: в шашечку; ногу просунувши в красную туфлю, брожу среди шашечек: желтеньких, синеньких; в окна кидается бездна веселого смеха—разбрызгалась шашечкой, цветиком, змейкой, павлином; январские ветры овеяли грудь; темносиний араб в широчайших штанах подает „thée complet"; выпиваем мы наспех горячего чаю; на уличку—в блески и трески; какой плоский гам! но—прислушайся: он отливает рельефами многих наречий; арабский язык рассыпает вокруг деревянно-гортанную дробь, из которой подъемлется итальянско-французское соло, как скрипка средь роя глухих барабанов:

— „Дха-дхáрбабаб!"

— „Дхáрбабаб!

— „Дхáрбабаб!"

То—барабанят арабы гортанями:

— „Зень-зень-зень-зень"—прозудел комаром тонконогий француз.

— „Жарэ джарэ-монджарэ"—то встретились два итальянца.

И—

— „Дхáрбабаб—

—„Джарбабаб"—

— „Áбра-кадáбра" — бьют глотки арабов.

Сверкание: заслоняю глаза: белизна тяжкокаменной улички явно разъялася глянцами; белый, твердеющий выступ стены запузатился темно-зеленой литою решеткой окна; сквозь нее повисает гирлянда пурпуровых цветиков—прямо над аркою улички; с небом, как кобальт, синеющим—темною уличкой стала: под арками, переходящими в крыши с отверстием сверху; мы крытою уличкой быстро бежим; и опять попадаем под кобальты страстного неба; направо—снежеет стена; и налево снежеет стена; надуваются стены зелеными окнами, твердыми башнями; уличка узится: в узком проходе несутся навстречу синейшие, белые, черные, красные, пестрые пятна: арабы, зуавы, суданские негры, еврейки

и мавры, корзины, плоды и лотки и колеса огромных размеров арабы, пятно вислоухого мула; бежит туарег с голубою вуалью, сконфуженный робкий турист, как и мы, пробирается здесь, спотыкаясь о кучку арабов, сидящих на корточках—на повороте, у выступа дома: недвижна она.

Я вчера проходил этим местом: сидела та самая кучечка здесь—неподвижна, у выступа дома. Но был уже вечер: стена бирюзела; синейшие тени протягивал месяц. Что делает здесь эта кучечка?

Завтра—пройду: на заре, среди розовых стен я споткнусь о ту самую кучку; немую, недвижную—на повороте, у выступа дома; и вновь опустеет проход; и белейшие платы прогянут лучи в коленкорово-черных тенях; и я буду ловить, одинокий, тишайшие шорохи ночи; та кучечка немо сидящих арабов—живая ли?

Легкая зелень шаров их тюрбанов на зелени утра отметится явственно...

Дальше—арабы, зуавы, суданские негры, лотки маслянистых лепешек, „арабы" (арбы), вислоухие мулы средь белых, калимых припеками стен.

Тунис 1911.

37. МИНАРЕТ

Минарет, выражающий... что? Я—не знаю: но знаю, что—многое; я покорен этой формою.

Беленький кубик, поставленный в высь, от котораго тянется беленький кубик, но... меньших размеров; с него пирамидка бросается шпицем; на шпице—серебряный серп полумесяца.

Нет ухищрений; в Сицилии—та же основа; она развелась утолщением башенки желтого, серого, коричневатого, розоватого цвета; она—оземнилась, а верх закруглился крупнеющим куполом, вспыхнувшим краскою; но прототип—минарет, провоздушенный облачком, в зелени вставшим, едва бирюзеющим, чуть хризолитовым в месяце, чуть розовеющим в зори.

В селе—беленеет, в Тунисе—пестреет фаянсовым глянцем ковровой стены: так цветная тесьма прошивает точеное кружево края изрезанной крыши; в богатых мечетях вся башенка—блещущий коврик; четыре стены минарета—четыре ковра; малахиты каймят перламутры поверхности тела; углы,—как белила; так: точно на белых столбах натянули четыре ковра; посредине коврового коврика—сочетанье провитых оконных оживь, разделенных колонками; точно фонтан, минаретик бьет в небо цветами.

Два стиля им связаны: церковь Сицилии с башней квадратной Кремля.

Шестигранные башенки редки; телами тончатся они, удлиняясь, как башенка старой мечети по имени Джемма-Джедит; переход к минарету Каира (граненой колонке) отметился здесь; в свою очередь он, минаретик Каира, естественно переходит в круглеющий палец Стамбула, связуя две формы: квадратную с круглой.

Мне более говорит белый кубик Туниспи.

Он почему-то связался с фигурой, стоящей под ним: без бурнуса, в муаровой гондуре, как росою обрызнутой ярко серебристыми блесками малых чешуек, вплетённых в нее; сбоку, в белых аркадах лимонно блистают фаянсы меж розовой стаи колонн; визги ласточек, режущих воздух; туда, в этот воздух приподнятый бок минарета; вот он розовеет; он—розовый; розовый в яркой заре; улыбается глянцем фаянса небесного цвета; и мне говорит—только что вот?

Не знаю.

. . . . .

Воскликнули глянцы: мулла созывает к молитве, просунувшись, может быть, белой чалмою в окошко над плоскими крышами старой Медины (квартала Туниса): и—тянет в мечеть; но я—р у м и, неверный; в мечеть не пропустят меня; в Кайруане—пропустят.

Тунис 1911.

38. БАЗАРЫ

Толкаешься, гонишься, перебегаешь, бежишь,—и не час, и не два!—оголтелый и радостный: ниши, продолблины, ряд углублений в стене: это—лавочки, лавки, лавчонки, где блещут фаянсы тончайших цветов—изразцов, распустив веера из летающих отблесков; звонкие горки и вовсе не звонкие горки червонных предметов наброшены или расставлены тонким ценителем неги и роскощи: сети тяжелых граненых лампад, или обод, в который вставляются свечи, курильницы; эти—трехноги; и шар с полумесяцем, густо утыканный дырами, через которые курево прыщется струями дыма; и—курева, и—золотая парча: там—ковры, там—шелка набегают дорожкою светленьких искр, или—глаз светляка: это—камень прозрачнится в темной лампаде; а вот—парчевая стена, завивая вишневые полосы шелка; и колкие искры забегали быстро в роях золотых поясов, золотых кошельков, золотых пузырьков; а по шелку царапает розовый крашеный ноготь торговца, который, свисая тюрбаном, поднимет высоко вишневую полосу шелка, ее распустив на прилавке упавшими складками; спустятся полосы плавно над ясным прилавком на улицу в гущу бурнусов, окутанных куревом; льются лимонные черные полосы мягких материй; из них вылезает кривая тупая арабская сабля; а черные, белые шашечки странно сложили ружье.

. . . . .

Бурнобелый поток гоготней голосов полетел, рассыпаясь на тысячи бьющихся тел—по базарным проходикам; он, как лавина, растет, как лавина, бежит, как лавина, гремит, как лавина, поет, оглушает и гонит, и топит; вдруг выкинет—в лавочку, в нишь, где и сумрак, и тишь, и разводы плодов среди пестрых ковров, и разводы распластанных полосатых, хвостатых фазанов, слетающих с вытканных ясных дерев с голубыми цветами, с цветными плодами; то—поле ковра, распростертого в нише; на

этом пленительном поле немые отливы на матовой черни сосудов, расставленных редко; с коврового ложа зафыркает синий дымок; и тогда ты поймешь, что средь этих расставленных роскошей ты не один: кто-то есть—там в углу; там сидит, там молчит, чуть зафыркавши куревом; там—синеватый дымок отморгнул огневой уголек, да водой тихо булькает маленький, тонкогорлый сосудец кальяна.

Кто курит? Кто тихо развеял дымок и затеплил в углу уголек?

Выясняется: там, в пестроте пестротой восседает достойный торговец ковров и сосудов, немой, без кровинки в лице; тебе кажется: он—лишь парчевые выплеты неживого, коврового поля; отсюда, из ниши, он видит кусочек прохода, залитого солнцем, набитого криком; и видит поток многоцветных г о н д у р, [1]) распускающих радуги колоритов под парусом бьющих бурнусов; ты высуни голову в уличку; и—погляди-ка направо: все груди, да лица; бледнейшие, темные, оливковатые, шоколадные лица; и—черные лица; и пестрядь цветных переливов; теперь—посмотри-ка налево: все спины, да спины; на спинах—бурнусы; поток не цветных, белых тел улетает волнами в извилины снегом белеющих выступов; точно цвета сочетались, согласно с л и л и с ь—в белый свет.

И—да, белый Тунис...

Но низринься в поток белых тел; и—рассыплется белое марево, вдруг проступая цветами и пятнами; пятна арабок с закутанным черным лицом, розоватых евреек в конических шапках; и—синие пятна плащей; полосатые пятна (по черному белое): точно закутался кто-то там в зебрину шкуру; вот белый бурнус разорвался руками (они—цвета сурика): перекаленные красные цепкие пальцы костляво схватили за пурпуры шелка и щупают очень прилежно добротность материи; и белый бурнус за спиною надулся; свирепое, злое лицо, обрастая щетиною черной, как смоль, заругалось с торговцем (не сходятся в це-

---

[1]) Гондура—цветная рубашка арабов ниже колен, на которую накидывается бурнус.

лах; и—вот барабанят ругательства; негр разгубастился, перепластавшись расплюснутым носом на спины—со спин; и чечья за чечьею [1]) алеет.

Ну—кинься обратно из лавки в поток: по бокам, по затылку, по груди осыпают пинками тебя угловатые, бронзой покрытые, локти; а в спину заломится стая суданцев; опустишь глаза—Боже мой! На твердеющих, каменных плитах—бегущие туфли на белых чулках: зеленейшие, яркие, красные, желто-морковные, желто-лимонные; кверху поднимешь глаза—над тюрбанами, фесками, над капюшонами голые локти, лотки маслянистых лепешек, посыпанных сахаром, быстро несутся под кубовым, пламенным небом; вдруг—каменный свод; вы влеглися с толпою сюда; и—темно; только прорезы сверху открытых просветов; оттуда столбы световые кипят светлой пылью, осыпав тюрбаны, летящие в сумрак из сумрака; каменный свод миновал: снова ухнуло кубовым небом на фески, тюрбаны, затылки и спины; как митра, плывущий тюрбан белощекого мавра блеснул золотою, крученой веревкою; веют снежайше шелка по плечам, западая за спину его; борода—шерсти соболя; остановился у лавочки: пробует пальцами то золотой пузырек, то тисненый кошель; под ногами бегущих—уселись: играют задумчиво в шашки.

И вот лабиринт крытых улиц, то—сукки [2]); они знамениты в Тунисе; на этой вот уличке приготовляют сапожники туфли; то—туфельный сукк; в углубленьях сидят чалмачи и сшивают сафьянную, красную кожу; на уличке рядом; ту кожу они продают; сукк—ткачей; ель-Кбебджийя (сукк тканей); везде изразец в углублениях: шашечки, петушки, дуги, цветики, скорпионы, зеленые рыбы, верблюдики синих, зеленых и желтых цветов; на фаянсовых плитках на белом, из сумрака не глянцовеющем поле; и—ткани, и—ткани, и—ткани; сидят величаво средь тканей красавцы в снежайших шелках; перламу-

---

1) Чечья—круглая тунисская феска с длиннейшею кистью.

2) Базары.

тровогрудой фигурой не двинутся: хмуры; и индигосинек прорезью из-под бурнуса молчат—в полусумрак; еврейка склонилась над тканью; своей толстозадой штаниной огромных размеров она полосатится; матово-нежным движеньем руки распустил перед ней белоглавый тюрбан свою ткань: а она—не берет: и—пошла, колыхая толстейший живот; и над ней обвисает шелками снежайший, огромнейший конус.

Вот—сукк ель-Барка: четырехугольная площадь; недавно еще торговали живыми людьми здесь; невольники вывелись; ныне—торгуют оружием; сукк Аттарин—здесь торгуют духами; жестокие мускусы, амбры и смолы.

А вот—что за диво: как много здесь фесочек: все—круглогранные; все—подлетают ко мне:

— „Вы, конечно, нас ищете?"

— „?"

— „Нашу фирму."

— „Оставьте."

— „Вы—русский? Приехали к нам погулять—из Сицилии верно."

Я думаю: „Он—проницателен".

—„Я же, мосье, проводник: вот, и — карточка есть; моя карточка.. Ну-ка, куда мы пойдем..."

—„Мы пройдем здесь одни..."

— „Ха-ха-ха: никогда не вернетесь на Place de la Bourse,—не найдете; я вас защищу от туземцев; до улицы — Касбы далеко" (по улице Касбы мы шли: наши окна—на улицу Касбы выходят, как кажется).

Думаю: как бы спастись мне от фесочки.

Фесочка—следует.

Вышли наружу: остыл на приступочке там человек; будто камень! Как мраморен лоб: синеватое очертание крючковатого носа кругом обросло бородой; борода, точно снег, утопает в снежайшем бурнусе; прижатый к приступку, едва не коснулся

коленом его бороды,—хоть бы что: недвижим; человек, или—статуй. Вдруг разжимаются губы колечком; из губ вылетает, крутясь,—дымовое колечко.

О, если бы мне быть спокойным, как он; окруженный ногами и красными, желтыми туфлями, здесь, у приступочка выставил он свой кальян, ожидая, как там, от угла к нему выползет точно такой же, как он, беломраморный старец с доскою; и шашки расставят они, старики, под ногами галдящей толпы.

Мы—уходим с базаров.

— „Иррр-ххэ—понукает осла пестрый бербер; и вот накатилась телега, меня прищемивши к стене, слышу голос:

— „Напрасно бежите с базаров, мосье!“

Это—фесочка: вот увязалась!

— „Напрасно, напрасно: вы, видимо, спешно уходите, чтобы я вас потерял“.

— „Не имею намеренья вам я показывать что-либо“...

— „Так себе, рядом пойду; вслед за вами!“

Бегу...

Лентою улица Касбы двумя беленеет рядами вьющихся стен; переполнена пестрыми пятнами; здесь — европейцы, их больше: несмело вливаются в толок бурнусов; вот лавочки сицилийцев; смуглач в очень грязных штанах, в очень красном жилете, в лиловом замусленном галстухе там у прилавка, где груды гнилейших плодов, размахался руками; и слышится.

— „Poco... mangiare“.

Напротив него, из стенной, глянцовеющей ниши просунулся вдруг желтосиний араб; у него за спиной—желтосинее все: те же полосы, дуга, цветки, скорпионы, рыбёшки, верблюдики; спелые груды гранатов лежат на прилавке; сочатся янтарные кисти янтарных, коричневых фиников, бледные связки бананов.

Выходим на „Place de la Bourse“. Уже вечер: вдали каменеет молчащая та же все кучка; день, утро, ночь,—неподвижна.

луна расстилает платки: фосфорически пятна горят. Бирюзовый ночами Тунис.

. . . . .

Завтра мы переедем к арабам, в село под Тунисом.

Тунис 1911

39. МАТМАТА

Половина восьмого; по европейским кварталам Туниса я вижу страннейшее шествие: медные трубы гремят; и—отряд красносиних зуавов проходит; и—грациозно гарцует за ним белосиняя конница; это—у д ж а к и.

У д ж а к и—полиция бея; гарцуют у д ж а к и на белых конях в яркосиних дорожных бурнусах, закинутых краем за плечи; край треплется в ветре; кривою, серебряной саблей блистают; квадратные седла причудливы; ноги просунуты в странное, деревянное стремя; за гордым уджакским отрядом проходят покрытые шкурами негры; за ними проходит горбатая стая верблюдов; на них восседают арабы; руками простерли они факела. Пламя брыжжется.

Это—начало арабскаго празднества; празднество длится два дня; в первый день обещаются борьбы и пляски суданцев и битвы верблюдов; импровизацией, называемой а р а б с к о й ф а н т а з и е й, завершается день; место празднества—ипподром; день второй открывается шествием Матмата; и за тем показуют искусство: жонглеры Морнага, отважные заклинатели змей, марокканские комики, музыканты из Умы.

Мы видели празднество.

. . . . .

Было пахучее, желтокрасное утро; оно возвещало безоблачный, белый денек; мы спешили в Тунис; закоулки, арабские двери, бегущие головы в желтолимонных тюрбанах мелькнули; и вот арабченок, одетый в свой розовый, пестрый бурнус; вот и дальние воды: и—стаи фламинго; и—поезд. Коричнево носятся земли горбов мимо окон вагона. Тунис—набегает.

И вот—ипподром; понастроены справа трибуны, а слева—убогие, бедуинские деревушки, разбитые черными пятнами малых палаток у склона холмов; и у склона холмов опестряет арабская чернь—склон холмов; пропустили ее за два су; и она—декорация, фон, на котором исполнится празднество; это—естественное „attraction“ для туристов, которые будут в бинокли ее созерцать; созерцают уже: шляпы, перья, бинокли, зонты, панталоны малинового оттенка зуавов; и—белые панама, и—арабский тюрбан; этим всем копошатся трибуны; у входа брядают серебряным обручем две бедуинки; и—нам протянули афиши.

Но—пуст ипподром; два уджакские всадника разгарцовались на нем; под уджаками пляшут арабские лошади; вдруг понесутся уджаки—в пространство: вбок, вбок—загибают; и—пишут восьмерки; и всадники стогиками в воздух кидают кривые, блестящие сабли; и, прыснувши блесками, падают в руки тяжелые рукояти; уджаки гарцуют; и—фыркают белогрудые кони.

Под пляшущим всадником встало два белых араба—с длиннейшими дудками; загоготали две дудки—в горячую, опененную морду коня; белогрудый скакун, размахавшись копытами, встал на дыбы; и—танцует в такт песни; возносится белосиний уджак; опускает коня; и—пускается вскачь.

Но пернатая дама меня отвлекает: я слышу шипенье:

— „Quelle rasse!“

— „C'est ignoble.“

Пожимаю плечами; но—чу: в отдалении львиный и все нарастающий рык, прободаемый хриплыми плачами дудок: несложный мотив; поднялся,—оборвался; четыре настойчивых ноты себя повторяют все ближе; пузатые барабаны виднеются издали с лесом приподнятых труб: в одну сторону; видно движение красных бегущих штанов и движение красных мелькающих фесок; пошли— музыканты; и синее с золотом, красное с синим мелькает, рябит; это—шествие; гордый уджакский отряд; и—сплошная толпа повалила за ним.

То—дудящие, дико галдящие берберы: бьют в барабаны,

„там-тамы“; за ними пошли, повалили дичайшие, чернокожие, черногубые, чернорукие черти, а берберов—нет: барабаны рыдают громадными, тусклыми, дальними звуками; негры—в широких штанах, ярко белых, и негры в широких, белеющих, иль розовеющих юпках, и—негры без юпок; дичеют ряды; чернокожее войско поперло звериными шкурами; вон чернокожий, немой великан, развевая по ветру косматую кожу, махает корнистой дубиной; уроды в мехах выступают отрядом за ним; в колпаках, из которых качаются перья таинственных страусов; шкурой покрытые лица; из прорвин видны и носы, и глаза.

За исчадием ада, но... жмурюсь от блеска!

Блистают на солнце: парчевые седла, парчевые сбруи, парчевый чепрак ниспадает с тяжелого крупа коней; и шелковожелтые, шелковобелые, шелковосиние, шелковокрасные всадники ярко блистают парчей перевязок и ясной красою тюрбанов; куски лиловатых, зеленых и розовокрасных атласов, прошитых сияющим золотом, треплются в воздухе с крупов коней, как хвосты или крылья. Не знаешь: крылатый ли—всадник, крылатый ли—конь, когда конь полетит, а атлас распрострется по воздуху.

Всадники немо сидят, воздевая знамена и длинные ружья, которые—в шашечку (черная шашечка, белая шашечка); всадники эти—почетные; то—Матмата́, или—выборные от казачества, здесь обитавшаго некогда; то представители древней, воинственной трибы, ведущей начало от бербера, ель-Матма́ти; она обитала на горном плато Уаншериш, обитала позднее в Испании; переселилась в Габес и в Марокко, рассеялась после; когда-то боролись с арабами всадники; и—в троглотитовых норах годами они проживали, скрываяся от кайруанских арабов; то отпрыски нумидийского воинства, соединенного под знамена Югурты; и—ранее: с нумидийскою конницей не управились гунны.

Атласные всадники!

Белые Матмата́ из Беджи́, желтоватые Матмата́ Кай-

руана, зеленые бизертинцы и розовые тунисийцы,—они галопируют, атласнокрылые кони грызут удила.

И—проехали.

Барабан зарыдал: чалмоносцы—пошли: полосатая стая моркагских жонглеров; за ней проплывали горбами в чехлах боевые верблюды; и взвизгнули дудки, простершись под небо: и шествие гордо замкнул белосиний, уджакский отряд.

Ипподром залился цветометом и звучными дудками, плакался там барабан; и—расплакался здесь барабан; и прошелся галдеж многотысячных толп; запылали светильнями золота всадники; здесь—расплясались суданцы, как стаи шимпанзе, метаясь по воздуху белыми прядями юпок, махая дубинами, передвигаяся в пляске туда и сюда; прометнулись косматые шкуры, провеяли перья; пред нами—стравляли косматых верблюдов—косматые берберы: и, натолкнув на верблюда верблюда, верблюдов они ударяли; верблюды дрожали, сопя, завернув друг от друга овечьи, надменные морды, миролюбиво друг друга обнюхав, рвались друг от друга; но их продолжали толкать; вдруг один закусался; и вот—их грызня; завились с озлобленьем их шеи—о шеи; один защемил меж ногами косматую шею другого—сломать позвонки: победил!

И—бегут разнимать.

Знаменосцы—сроились, сплотнились рои барабанов, и—хлынули толпы народа с далеких холмов в свистопляску цветов, разливаясь цветными повязками—там, средь шатров бедуинов на фоне оливок и белого купола; гикают, пляшут, смеются; летают знамена немых Матмата.

Вдруг все то—расступилось: уджаки, гарцуя, как наши жандармы, теснят, очищают пространство; и все—притеснилось к далекой гряде, опустел ипподром; на средину которого вылетел всадник за всадником; быстро сроился отряд Матмата в золотой, цветометный ковер, проползающий медленно по зеленому полю лиловым, пунцовым, зеленым атласом; свои полосатые ружья рукою прижали к груди Матмата, изгибаясь златистыми станами к блещущим лукам.

И—грянули выстрелы; вскинулись узкие ружья на воздух; отряд Матмата полетел многотопным галопом на медленно едущий строй Матмата; быстро вылетев, розовый всадник Туниса пустился навстречу карьером, вскочив на седло и стреляя вперед; вот он—падает в травы, как мертвый, а конь вкруг него, развивая крыло, залетал; поднялся, разбежавшись, вскочил на коня розовеющий всадник Туниса; руками схватясь за седло, он привстал кверх ногами на полном скаку.

Началась джигитовка!

Парчевые лопасти взвеяли белые кони; и—выстрелы, крики— и ухнувших дудок, и бухнувших гудов; летают атласы в букете лиловых, зеленых, кровавых и синих цветов; и—воздета хоругвь, серебрея звездой, полумесяцем; строится шествие: чинно в обратном порядке проходит в Тунис.

Нанимаю cocher; но--арабские толпы сжимают его; за развеянным знаменем едем; за писками дудок, за дисками света; то—спины блистающих всадников.

. . . . .

Ночь.

Я—на плоской, белеющей крыше, под черным простором, под искрами звезд; ослепленный,—стою над Радесом; да, да— поразили меня Матмата. Поразила арабская, странная музыка: слышу ее неотступно.

Радес 1911.

40. СРЕДИ ТОЛОКА ТЕЛ

Опять среди толока тел проницаю гортанные крики и вижу разумно текущую жизнь.

Среди бури бурнусов—старик, неподвижно застывший: бормочет священные тексты Корана—над грудой червонных предметов; а—там: преспокойная кучка арабов поднимет внезапно свою стукотню-беготню; кто-то издали, встав над толпой, помахает бурнусом; и сзади тебя, кто-то издали, встав над тол-

цой, помахает бурнусом; и это сигнал, подаваемый кем-то, куда-то; сигнал полетит с быстротой телеграфа,—далеко; оставив Тунис, полетит по полям; всюду будет сигнал; сигнализация—быстролетна; пройдет час, иль два,—в Гаммам-Лифе узнают, что нужно,—до поезда.

Вот продавцы: молодые, почтенные, дряхлые, рваные, чистые, снежные, в золоте—стынут средь изразца; и—поят покупателя кофе; а там занимаются выделкой пестрых предметов—сшивают шелка, или туфли (зеленые), иль деревянными гребнями чешут: косматые связки нечесанной шерсти.

Лишь прочный прилавок от улички их отделил: продаются пахучие смолы, благоуханное дерево, яица страусов; несколько камушков ты унесешь, чтоб раскуривать; и из курильницы встанет дурман; и висят бахромою над лавками—крупные свечи коричневотемные; сбоку звончайшие горки граненых флаконов, которые полнит араб покупателям: амброй, фиалкой и розовым маслом, заливши притертую пробку бесцветною липкостью; ты отольешь одну каплю,—омаслятся руки; и будут дымиться они: благовонием масла.

Араб раздвигает прилавок: и горд, победителен жест бледнонежной руки; и уж ты—за прилавком: в набитой предметами комнате, устланной кайруанскими ковриками среди маленьких кайруанских подушек; они—чернобелы. Дородный араб задвигает прилавок, сажает в подушки; кричит:

„ Раб арап... дхарбаба... обокрал... ба-ба... шкап... раб Абрам... брама-бра...

При попытке понять,—ерунда: арабченок же понял; и вот—наливает вам кофе.

В Тунисии нет обыденных покупок: они протекают обрядом, украшенным велелепием пышных приветов, как сложным орнаментом.

Только за кофе араб приступает к торговле.

— „Мне—амбры..."

— „Смотрите, мосье,—что за жидкость: какая прекрасная

жидкость: понюхайте только; и в вашу почтенную грудь изольются фиалки...“

— „Жене подарите,—ну граммов пятнадцать той жидкости...“

— „Как?“

— „Не хотите!??!

— „Жене подарить этой жидкости?“

— „Ну,—подарите сестре—десять граммов: прекраснейшей жидкости“...

. . . . .

— „Нет, мне бы—амбры“.

. . . . .

— „Вы—немец? Не думаю... Вот вы кто: русский! Постойте: бывало здесь, в лавочке, покупал благовония князь—русский князь; и всегда был доволен; постойте же, повремените минуточку: я достану из шкапчика вот—посмотрите, какой он резной: я его бы мог вам уступить!—я достану визитную карточку князя, с короной...

. . . . .

— „Мне—амбры...“

. . . . .

— „Что амбра? Я амбру отвешу потом; но вот этот флакон: ах, понюхайте—слышите?.. Лилии?

— „Лилии эти всегда покупал... погодите—вот карточка; видите,—вот и корона“...

— „Чистейшие лилии: у молодого же князя супруга была англичанка...

— „А—вот: дуновение розы, едва распустившейся: ну-ка отвешу-ка я этой розы... Немного“...

. . . . .

— „Позвольте мне амбры“...

. . . . .

— „Как?“

— „Три?“

— „Я повесил вам пять: неужели мне лить их обратно? Как, зря вы хотите, чтоб я хлопотал“...

— „Из-за амбры, мосье, не хлопочут“.

. . . . .

Растет строй флаконов; цветистой поэмой проходит каталог бальзамов и масл; боротатый араб неожиданно капнет в платок, чуть притрет аромат тертой пробкой к ладони; за амбру—запросит: ты—ахнешь! Но ты предлагай раз в пятнадцать дешевле; польются попреки, сарказмы и клятвы; в гирлянде метафор пройдет борода Магомета, и гурии где-то возникнут.

Окончена купля: и ты получишь подарок; и вы—расстаетесь друзьями.

. . . . .

Порой нет прилавка; помост в полуфут вышиной; восседает араб среди туфель—на туфельном с у к к е [1]) и множество туфельных лавок кругом: в этой туфли лимонны, а в этой—морковны; и думаешь: если бы соскочили все туфли, зашлепав по улицам?

Край же помоста—приступок; на нем, обтирая лоснящийся лоб, отдыхает араб: покупатель, знакомец, приятель торговца; приступок обсажен бурнусами; часто торговля идет через головы: шествуют так по рукам: пояски; кошельки—кошельки всех размеров: сафьяново-красный, парчевый, иль черного цвета—до просини; ярко блеснувший серебряным позументом, зеленоватый (с сидящей на нем малой ракушкой), иль—черепаховый, или змеиный, покрытый тесьмою.

Араб из простенка следит за летанием кошельков по рукам из-за глянцев квадратных, глазурью блистающих плиток: на них—цетушки и пальметты зеленых и синих цветов; или—синие шашечки, желтые шашечки.

Многие лавки укрыты стеною; в них—сумрак; и турка—сидит; и—глядит в пестроцветные роскоши; турке—завидую: я у него раздобыл уж подсвечник, чечью, пару туфель, горящих, как кармин, курильницу, синезеленую кружку, накладку (кусочек парчи), полосатый бурнус, чешую серебра и кусочки трех-

---

1) С у к к и—базары.

цветного шелку; я часто бываю—у турки; турка расстелет шелка; полоса золотого лимона растянется с вишней и червенью; этих полос не увидишь в Египте; их нет в Палестине, ни в Смирне; не знает их шумный Стамбул.

. . . . .

Нагруженный покупками, я возвращаюсь в Радес: поездок, пробежавши три станции, станет; и выкрикнет кто-то: Максулла!

Я выскочу: в сторону от Максуллы, с холма пробелеют уже башни Радеса: спешу: в малой башенке Ася меня ожидает; и—чай; бирюза над прорвиной; в тусклости—всадник в опрековом, темном хитоне; он канет—в косматые кактусы белым конем; это—сторож радесских деревьев, растущих косматыми рощами;—спелой оливкой торгуют сельчане.

Луна зацепилась за край дымового лилового облака; и—побежал с горизонта по морю серебряный сноп; но луна опустилась: темнеет мгновенно; безвесные веси и линии длин утонули: уснули в несущихся сумерках — по направлению к белой радесской стене.

Среди стен и теней бестелеснолетящие саваны бурных бурнусов, как белые лебеди, великолепно проплещут, из сумерок: в сумерки; и скроются в сумерки.

Тщетно стараюсь пробраться на площадь в сплошном лабиринте простенков, ходов, закоулочков, стен: безоконных; невольно забьешься в тупик; повернешься обратно: нет выхода!

А уж навстречу из тьмы летит плащ; и у самого носа из белого капюшона просунется профиль, поросший чернейщей щетиной: окинет тебя; и—пройдет безответно, потом обернется: и—смотрит внимательно.

И какая-то белая птица стучится железом дверного кольца; скрипнет дверь; и захлопнется.

Вот—перекресток; протянут дугою фонарь из стены; желтым кружевом света бросает во мраки вон тех четырех переулков; и—лавочка: груды гранат, апельсинов и фиников (после таких

не едал); и лукавое око купца; и раскрашенный розовый ноготь, дрожа, показует на финик; от финика тянется искра; и—колется тонкою световою иглой; в глубине малой лавочки на тростниковой циновке бормочет молитвы склонившийся юноша.

Окрики, лаи, улюлюканье, вой.

В Захуане, близ домиков маврского поселенья, как слышал, гиены блуждают щетинистой стаей.

На площади; падает сноп света в отверстья кафэ; а в окошках застыл рой арабов; один начинает кричать;—голосит благим матом весь рой; это—спор; и проклятьем оглашая село, в двери кинется выгнанный спорщик; огромный бурнус, распростерши крыло, точно лебедь, несется над площадью в тьму закоулка.

Стучусь: и—шаги по винтом ниспадающей лесенке: Ася!

Радес 1911

41. ТУНИС

Каждый день я бываю в Тунисе: в „культурном“ Тунисе; и часто—в арабском; последний—культурнее, потому что основа культуры—умение жить; в воссоздании—знание, жизнь же создание; и потому-то культура есть подлинно углубленное знание: мудрое знание; знание, взятое в смысле обычном научного знания; еще не знание-собственно, а половинное знание.

Культура Тунисии теплится воспоминаньем о цельном законченном знании жизни, хотя бы дух времени перерос эту цельность; дух нашего времени нами, Европой, еще не угадан; еще он в задании, в будущем; то, что обычно считается злобою дня, современностью, есть лишь пародия на ненайденный путь духа жизни; в страдании, в подвиге, в осознанье исканий, в вершинах,—мы, может быть, выше араба, который еще сохранил бестрагичную цельность когда-то огромных путей; эта цельность течет в его жестах, обычаях, быте; но средний пошляк европеец, стоящий на уровне всех современных заданий начала двадца-

того века, конечно, есть жалкий паяц по сравнению с сельским арабом; что в нем разрешится в далеком грядущем, быть может в гармонию,—ныне, в начале XX века живет, как уродство; в средине XX века, наверное, от XX века, воспринятого в нашем смысле,—ничто не останется: будут развалины, будут раздавлены; в людях-развалинах мысли, подобные нашим, раздавлены будут. Когда-то, быть может, сознание трагедии наших путей нас возвысит; пока мы довольны собой, мы—уроды, фантоши; особено ярко уродство раздвоенных, наших исканий на фоне старинных заданий, осевших прекрасною цельностью быта, хотя б ограниченного.—

— Это во мне оживало в новейшем Тунисе, когда проходили с женою мы чистым бульваром от улицы Касбы. Как все здесь нескладно: вот именно—нет умения жить; европейский костюм, обрамленный арабской постройкой на фоне ландшафта Тунисии —мерзость; и мерзость есть грамотность, если приводит она только к чтенью „Matin" „Petit Journal", а не подлинных книг; и цивилизация, быт нашей жизни построен по принципам желтой рекламы и желтой газеты (ни белой, ни черной, ни красной); она-то плодит грамотеев, которые, переплывая чрез море, калечат быт жизни; и оттого-то несносны в Тунисии все „avenues" Jule Ferry.

Почему европейцы не приняли архитектуры Тунисии? Плоская крыша, дающая домику форму чистейшего куба, прекрасна; в той форме эстетика есть выражение принципа простоты и удобства; в сухой, пережаренной местности есть ведь потребность сидеть по ночам подъ луною; и днем защищаться толстейшей стеною; поэтому стены тунисских домов очень толсты; они, как бы крепости; и совершенно естественна острая крыша в дождливой, туманистой местности; стиль черепитчатых крыш—стиль Европы, уместен—в Европе; в Тунисии строить дома с тонкой стенкой, с приподнятой крышею—глупость, абстрактность, отсутствие жизненных ритмов, то самое неумение жить, раздвоение, „цивилизация", неврастения, бесвкусица.

Так же сидеть, как в Париже, в шато-кабаке за клико,

окургузить движения смокингом, смокинг, клико и „Matin" навязать целомудренно-чистой прекрасной культуре есть наглость и глупость; поговорите с французом-тунисцем,—увидите вы: для него человек, не надевший кургузых штанишек Европы, есть парий, есть cet arabe"...

Тем не менее некоторые начинанья французов бесспорно заслуживают всевозможных похвал; так - культура дорог, огородов, садов, орошения, школ симпатична; заслуживает уваженья облегченье налогов беднейшему населению; пышная зелень ужаснейших вилл хороша.

И хорош—Бельведер.

Сколотивши на новом участке земли (прежде было здесь озеро) малый Париж, развели, разумеется, парк—Бельведер, где встречается тонкая хвоя и стройная пальма; накатаны в парке аллеи; летают коляски, гарцуют прекрасные всадники в красных штанах, в позолоченных кэпи, на белых конях — офицеры, сопровождая летучую амазонку в цилиндрике, точно в „Bois de Boulogne",—мимо пальм, сикомор, рододендров, лиан, сквозь которые ярко блистает фиалковой синью залив, окаймленный из далей песками и очерком лиловеющих гор; а вон эта зеленая пустошь с нелепой, глупейшей пустынею есть ипподром; он - нелеп.

Зашататься по людным проспектам—по rues de Russie, d'Angleterre и d' Espagne, заседать в павильончике Бельведера нам скучно; мы чаще, свершивши закупки, уходим в арабский квартал; и там бродим часами; заходим на судбище, передыхаем в арабском кафэ, посещаем пестрейшие сукки, к которым выходит дворец; принимает в нем бей[1]).

Я вхожу: лабиринт комнатушек—веселых и милых; из черных и белых квадратиков сложена эта; из пестрых фаянсов вот та; будто ручкой ребенка из маленьких кубиков, блещущих, пестреньких, сложены комнаты желтых и красных разводов за комнатой желтых и синих разводов: проходят, как... коврики;

[1]) Номинальный правитель Тунисии: действительная власть у резидента.

зеленосиний ковер—потолок; и нет—сил оторваться; а кружево ясно блистающих глянцев? Оно расположено—дугами, полосами, квадратами; дуги—над дверью.

Арабская дверь!

Я стою перед ней богомольно: резная, изорная в четком квадрате она очертила свой стрельчатый вырез; крутая дуга здесь порой переломана; линии справа и слева (прямые) сперва образуют легчайший наклон, а потом, выгибаясь направо, налево сливаются—то полукругом, то дугами, очень крутыми, почти заостренными в стрелку; та форма, сложившися здесь, развивалась в Испании, в южной Италии, став основанием стрельчатых храмов, поздней завершившися в готике; двери соборов Европы—позднейшая форма вот этой, резной, современной в Тунисе еще; переезжаете в Сицилию: там эта дверь есть остаток былого величия; там эту дверь уважают, ее посещают туристы; в Тунисии дверь эта—всюду; ее разрушает усердный француз-буржуа, заменяя нелепицей (виллы французов нелепы); она, эта дверь, открывает порог бедняка-сельчанина; тогда—нет резьбы; открывает она, эта дверь, и порог богача, в таком случае тонкие полосы инкрустации, или—резьбы, иль блистающих, тонко-литых металлических блях украшают ее; две витые колонки у входа; она прочертилась в квадрате; края его часто изрезаны; выбиты арабески; они образуют бордюры; порой—изразца; иногда—ряд полос, тонко вписанных, образуют квадраты в квадрате; в зеленом, в тяжелом, в сплошном малахите начертан квадрат из бордюра: цвет—ляпис-лазури.

Мне помнится: Верещагин в картине „Ворота в Дели“ дал полнейшую иллюстрацию к лейт-мотиву дверных начертаний Тунисии; упрощенная форма „Ворот“ есть обычная мавританская дверь; на Воздвиженке[1]) дверь та нелепость, гротеск, искаженье; в селе и в дворце современной Тунисии дверь та жива; я—стою перед ней: оживальная арка из синего, серого, синезеленого дерева, иль из металла в ней вписана; жизнью и легкостью дышит она.

[1]) В Москве, в доме бывшем Морозова.

Но—вернемся к дворцу: он система веселых клетушек, в которых содержится пестрая птица, которую важно подвесил француз-буржуа в республиканском салоне своем; что-то в роде пестрейшего попугая живет в этой клетке для легкой забавы детей и гостей; попуга—это б е й, иль монарх, содержимый в республике для... для чего? Для хорошего, буржуазного стиля?

Клетушка почти что без мебели; вот неуклюжее кресло ампир (буржуа развратил вкус тунисской почти опереточной знати). Вот—трон, бейский трон; вот циновки:

— „На них совершают молитву министры"—мне шепчет оборванный камер-лакей"—б е й бывает здесь в дни высочайших приемов; живет же он в Марсе, а то в Гаммам-Лифе:

— „Вот здесь б е й сидит!"

— „Здесь он курит!"

— „Отсюда он смотрит, любуясь Тунисом".

— „Вот здесь умывается".

— „Здесь—отдыхает: устанет, и—спит" поясняет с наивною фамильярностью камер-лакей.

— „Он ведь тоже, как все, устает"...

— „Бей почти как... король" продолжает лакей пояснения; именно: не король, а п о ч т и к а к... как мы; не желал бы быть беем: жить в клетке!

Выходим на плоскую крышу дворца; и—Тунис подо мною; дома, кипарисы, мечети; цветной минарет от мечети Джемма-Джедид высится шпицем; серебряный серп полумесяца плавает в индиго неба.

— „Как вы примиряетесь с управленьем французов"?

— „Так точно, как вы примиряетесь с приставаньем на улицах уличных нищих".

Точнейший ответ!

— „Вон оттуда французы вступили в Тунис",—с грустной миной мне бросил араб.

Справа—мощный квартал: Б а б - Д ж а з и р а, а слева не меньший: Б а б - С у й к а; и прямо—М е д и н а.

Отсюда во время Байрама спускается б е й; и проходит со

свитой по крытым базарам, порою скромнехонько он отдыхает у всеми любимых торговцев: такими считали недавно Джам-маля, Барбуши (торговцев ковров) или Шедли, который всегда поставлял благовония бею; он лично поддерживал с ними знакомства, как, например с Ларбей-Спайсом, книготорговцем Туниса [1]).

Во время Байрама на „празднике Наслаждений“ „Тунис высыпает на улицы“; бродят с лотками пирожники; все богачи чрез посредство гаремов своих занимаются спешным печением яств для беднейших туниссцев; вы видите маленькие пирожки самых пестрых цветов; разодеты прохожие; бей посещает мечети; по узеньким уличкам древние, голубые кареты, грохочут; на улице Галфауйан—центр стеченья толпы; величаво арабы в шелках и в парадных тюрбанах катаются в... в шарабанках (английская упряжь!), в каретах, украшенных розами; гордо на козлах возносит свой профиль бурнус; а на площади—вертится, как и у нас, карусель (деревянные кони); а в прежнее время сам бей забавлялся, присутствуя при игре на качелях нагих одалисок и юных эфебов; порою бросал в них ножи, теша норов; теперь—он подвешен!.. Здесь в „день Наслаждений“ проходят процессии цехов труда; вот и букетчик с цветочным плато, а вот—булочник, вот массажист из Хаммама [2]); кортеж бесконечен [3]).

. . . . .

Теперь — нет Байрама; стечение толп вечерами на площади; площадь—Баб-Суйка гремит голосами под куполом; купол мечети уже бирюзеет луною.

. . . . .

Я помню, как в первый наш вечер в Тунисе мы прыгнули в быстрый трамвай: через rues „Des Maltois“, „Bab-Carthaga“, „Bab-Souika“ приехали прямо на площадь Баб-Суйка; араб нас повел в очень мрачного вида кафэ, отделенное красной завесой

---

[1]) По Myriam Harry („Tunis la blanche“).

[2]) Бани.

[3]) См. „Tunis la blanche“.

от меркнущей улицы: столики, столики (в просто к а ф э—нет столов: есть помосты); измаилиты во фраках, арабки с открытыми лицами в шелковых пестрых платках, перетянутых туго на бедрах, иль шелковых шароварах — на пёстром помосте: они здесь сидят — „на показ“; вон за столиках кучка арабских студентов; а вон--верно берберы; эти—попроще; брюнет, завсегдатай кафэ, закрутив неприлично усы и засунувши руки в карманы, виляет потертыми фалдами черного фрака, и—страстным до жути гортанно-клокочущим голосом дико орет три—четыре все те же дотошные ноты; и — до того непристойно поводит глазами, стреляя в арабок, что нам—отвратительно; те отвечают такими же взглядами; видимо фрачник едва на ногах.

На помосте другой подозрительный юноша (израилит иль мальтиец, иль грек?) барабанит ужасные страстности; и поднимается медленно крашеная красавица для... danse de ventre; непристойно и... скучно; а в такт животу тот же фрачник, закинувши голову, шею вобравши в покатые плечи, расставивши ноги, поднявшись на цыпочки, тянет напевы чудовищной оргии; вижу: арабы-студенты — в восторге; в восторге — арабки, в восторге — плясунья; достойный старик, для чего-то пришедший сюда,—недоволен; качается злобно тюрбан; он—выходит; мы — тоже.

Баб-Суйка — пуста; одинокое привиденье в бурнусе тихонько маячит; оно приближается; угольно-черным пятном выставляется злое лицо; это—негр; никого; синева, тишина, пустота белизна: бирюзовый Тунис!

Радес 1911

42. КАФЭ

Их — кафэ! Они — всякие: светлые, темные, бедные, полные роскоши; и переполнены — все: в городах, в деревушках; туда, отработав, плетется коричневый бербер; и — белый осанистый мавр; земледелец и шейх, адвокат и пастух коротают в кафэ

свои ночи: одни переполнены гамом; другие — молчаньем; в одних разрыдался там-там[1]); разрисована, ярко одета, красавица пляшет изогнутым станом в других; в третьих сказочник тихо бормочет за кофеем складные сказки.

В богатом и в бедном кафэ глянцеватый тунисский фаянс завивается желтыми, синими красками; вон—глянцеватая печечка; старый кофейник склонился над ней: варит кофе; лишь изредка изразец не опестряет стены, но всегда опестряет веселые плиточки печки, откуда в малюсеньких чашечках вам подается сладчайший и рот обжигающий кофе за два только с у; и араб его тянет часами на каменном пестром помосте, порою покрытом плетеной циновкой из пальмовых листьев какого-то кукурузного цвета; в богатых кафэ на стенах раскричалась поэма цветных, кайруанских ковров; под помостом, с ног сброшены,—красные, синие, желтые и зеленые туфли; арабы уселись на корточках, или в развалку—без туфель: кто в белых чулках, кто сидит босоногий: градация пяток — оливковых, желтых и бронзовых; волны бурнусов, шары белоснежных тюрбанов; коричневочерный сидит балахон; и на нем—капюшон; а лица — не видать; вон — малиновый морок чечьи; вон — мрачнейший морок курителей „ширы“, дурмана, которым себя отравляют арабы; в укромных кафэ, и в богатых кафэ очень часто вы встретите тайную комнатку, отведенную для курителей „ширы“; ввоз „ширы“ в Тунис запрещен; контрабандою ввозят ее из Марокко, из Триполи.

На пестротканные ложа поставлены всюду бутылочки разных цветов, или — с э с б и; и булькает в с э с б и вода; две иль три гуттаперчевых трубки в руках у курильщиков; это—кальян.

. . . . .

Вот мы входим в кафэ; чернобровые, снежные мавры в тюрбанах достойно и томно застыли на фоне цветных изразцов; мавританский тюрбан—архиерейская митра; он—шелковый, белый, затянутый часто крученою, золотою веревкой; шелка упа-

1) Там-там — особый инструмент, напоминающий барабан: в него бьют руками.

дают, как снежные кудри на плечи; ложатся на плечи; вон там, с соболиной, густой бородой достает парчевой портсигар, выпадающий трепетно на пестротканное ложе из мраморных пальцев; откинувши белые шерсти бурнуса, он весь — целомудренно белый, он весь —шерстяной, изгибается перетянутым станом; и падает гордо на локоть главою, увенчанной митрой; тот ткани кусок, пеленающий тонкое тело его под бурнусом — „харем“; и „харем“ отличает богатого мавра от первого встречного; белый красавец пойдет из кафэ; он накинет поверх своих белых шерстей и шелков толстый синий, раскинутый плащ, точно нехотя сброшенный рядом; пленительный мавр закурил сигаретку (французскую), передавая какое-то сведенье бронзовому ястребиному лику, закутанному во все черное; странная эта фигура—старик; и мне кажется, что лицо его с глазами, скулами, лбом и губами подтянуто к носу, ушло в сплошной нос, кабы только не длинная борода, сединой распущенная по сплошному и черному фону закутанной, вдавленной, хилой груди; крючковатые пальцы дрожат: что-то хищное, дикое в умном, притушенном взгляде двух красненьких и гноящихся глазок.

Кто это? Я думаю, что — марокканец; нигде, как в Марокко, не любят так черных цветов; марокканец — приезжий из Феца; он чужд всему здешнему; если бы дать ему волю, он всех перерезал бы нас; и ему сообщает изнеженный мавр, может быть, кое-что, неприятное, даже опасное нам, европейцам; мавр крепко не любит Европу: торговля Европой подорвана; не заговорщик он: он лишь обиженный; он посещает французский квартал; за ним бегают толпы француженок, италианок и немок; имеет огромный успех он у дам.

Марокканец и с ним осторожен: глядит исподлобья; дай волю,—прирезал и мавра бы он; между ними—трескучий посредник: типичный тунисский араб (не из мавров, конечно); торчит его красная феска-чечья из-под голову покрывающего платка— на макушке: такие уборы—типичны для Триполи, для Туниса: и реже такие уборы в Алжире: алжирец особой повязкой обматывает триполитанский убор, затянувши тесьмою его

точно обручем: белой вуалью на плечи ложатся края той повязки.

Тунисцы, алжирцы и марокканцы отличны: в манере закидывать плащ как отличны в уборе, в подборе цветов, в беглом, берберском говоре, в цвете лица, в росте, в ритме душевных движений; великолепней всех—мавры; ленивей—алжирцы; культурнее, благодушней—тунисцы; трудолюбивее, злей—марокканцы; беспечнее—негры.

Вернемся к кафэ.

. . . . .

Марокканец, быть может, привез для надменного мавра товар; совершается сделка; молчит марокканец; и мавр, рассказав коечто, замолчал: словоохотливость—невоспитанность; аристократы—все мавры; порода кричит из него; и ее на показ выставляет он там, в европейских кафэ, пред туристкой-француженкой; некогда он обирал простодушных сельчан, проживая в уютнейшем доме с аркадою, с двориком; под апельсинником днями сидел на подушке, курил наргилэ; но—явились французы; и мавр опустился: он стал появляться в кафэ, спекулируя „широю“; вот марокканец, привез ему „широ“; ее он продаст, наживется; и после в роскошнейшем театральном костюме появится на avenues Jule Ferry; он — пройдется, увидит ее, победит: соболиною бровью, прекрасным тюрбаном и мрамором белого лика.

. . . . .

Другое кафэ: изразцы блестят; вместо пестрых ковров лишь циновки; и мавр не появится здесь; но появится фокусник с бьющейся очарованной коброй, появится негр; туарег голубеет литамом; но стен в нем не видно: четыре стены, точно мухи обсели бурнусы; меж нами — бурнусы: галдеж! Теперь сукки закрыты; и вот прибежали из сукков сюда коротать длинный вечер: здесь видишь бабуши и геббы; вся площадь Халфауйин в этих бедных кафэ; мимо них бродят вечером женские тени, закутаны хайком, сквозь который сквозит очень, пестрый платок, иль фута, перетянутый туго на бедрах: и то—проститутки; вон там колоннада мечети Халфауйин; тут сбе-

гаются все, бросив быстро дневную работу; здесь — кутят; здесь ходят прекрасные юноши, голоногие, крашеной розовой пяткой прельщая слюнявого старца; порой под плащем надевают они болеро, точно женщины; и называют по-женски себя, то — Манубией, то—Фатьмой.

. . . . .

Мы сперва избегали кафэ; европейцу, казалось нам, жутко и как-то неловко, сидеть средь арабов, врываясь в их жизнь; но мы скоро — привыкли; и часто сидели над пестрым помостом с малюсенькой чашечкой кофе; арабская жизнь распахнулась для нас.

Радес 1911

43. ПОБЕРЕЖИЕ

Скопище буйных белохитонных арабов, седых, белоглавых, иль черных, как смоль, здесь сидело и думало некогда: о покоренье Европы; и—ранее: думу свою утаил, может быть, Аннибал; это—древнее место; Тунис прорастает в столетиях; самое тело сложил он из древности: из карфагенского, крепкого камня сложили арабы Тунис: белизна его стен — седина; не известкой он выбелен: старостью; и оттого-то на улицах столько достоинством ярко отмеченных лиц; благородные старцы рассыпаны стаями; здесь старики —поражают красою; красивей они молодежи; и нет „старикашки" Европы на улице Касбы; на чистых, белеющих улицах с посохом медленно шествует белый достойный старик; и „мышиный жеребчик" Европы, в цилиндре сюсюкает что-то раскрашенной даме в квартале Европы.

Здесь вдруг пропадает совсем сицилийская грязь, где стирается белый и розовый цвет в спржавый; цвет рыжий, цвет пыльный, цвет ржавый есть цвет сицилийский.

Сицилия—место смесительств; здесь— встреча креста с полумесяцем; белый бурнус встретил красную ризу воителя: рыцарский плащ; розы розовой трубадуровой грезы обвили объятия

шелковой гурии; в шлем крепко врезалась сарацинская сабля; и в пенье органа вплелись крики дервишей, гулы „там-тама“, строка трубадура, всегда подчиненная правилам метрики, всстретилась с вольной, фривольной арабскою сказкой; и линия стойких бойцов, ряд крестов отступили пред линией белых бурнусов.

Воистину: крепко истоптана почва Сицилии: грозный, гортанный араб в нее втоптан; то он подает свой дрожащий от страсти назойливый голос в смесительной песни Сицилии; и монреалец закутался в плащ, как араб.

На тунисском песочке, который ласкают синеющие воды,— смешения нет; и араб выпрямляет себя; и арабы достойно проходят пред нами.

Радес 1911

ГЛАВА ПЯТАЯ

Радес

44. РАДЕС

Вон—лиловые гребни; то—Атлас; в синеющей тускляди он; а напротив—вершина Двурогой Горы розовеет из ярко-лиловых подножий; и ниже тунисский залив бирюзою вгоняется в очерки холмиков; парус рыбацкий, весь день неподвижно белевший в немых горизонтах, теперь, пролетевши в залив, прилипает к пескам побережий, вгоняясь в лиловые ребра; французский поселок ютится у берега.

Уже побледнел рог горы: он—седой, а не розовый; гордо уселась над морем отсеченным краем гора; есть легенда, что срезал ее Магомет; я недавно бродил у подножий; рога прободали седые, туманные кудри косматого облака.

Глазами; летаю туда и сюда: залив—предо мною; люблю этот „пляж"; сюда летом с'езжают к синим, приморским хаммамам[1]) бурнусы и хаики[2]); звучно взревают у моря верблюды, и скрипы своих источенных колес подымают тележки- „арабы" (арбы); наполняется белый Радес всей арабской тунисскою знатью, хоть и лежит не у самого моря (на рослых холмах); но теперь еще только февраль; и—пустеет село; проживают в Радесе сельчане, да мы, иностранцы; нас—двое: жена моя, я.

Вот по берегу брошены влево поселки: Кеир-Эддин, Марса, Голетта, Сиди-бу-Саид, что стоит на мысу карфагенском, на

---

[1]) Купаньям. [2]) Женские одежды.

месте Мегары; на „пляже“ разбросаны часто квадратики-домики; их жарким летом снимают: сидеть днем и ночью в костюме Адама, дышать ветерком.

Моя плоская крыша над площадью; я приседаю на край; и — смотрю себе под ноги; башенкой бело твердеет наш домик: как будто поставили кубик на куб.

Коричнева вечером площадь (она—под ногами), на ней—два кафэ; изо всех закоулков (кривых, безоконных) выходят арабы под вечер; галдеть, прохлаждаться в кафэ; точно бабочки, плещут крылами бурнусов у крашеной двери; и курятся трубочки.

Входит на площадь рогатое стадо; за ними погоньщик, величаво закинув дырявую мантию, тихо проходит из ближних оливковых рощ, наблюдая прыжки тяжковыйных, коричневых коз и прыгучих козлов; и рогатое стадо сбежалось к прохладной цисцерне, гоня бедуинок, которые поволокли кувшины, и—ругаются; а погоньщик, опираясь о жезл, призадумался около края цисцерны; и смотрит в колючие диски косматого кактуса. Скоро в пустых закоулках Радеса растает рогатое стадо.

А кто, у кафе, разболтался, тряся темнобронзовой кистью приподнятых рук прямо в небо; под белой фигурой, сидящей на корточках и язвительно теребящей седую бородку чернейшего цвета рукой? И чернейшего цвета лицо улыбается берберу; тот—отойдет, отругнется; и—сплюнет; опять повернется, вернется к фигуре: и—„дхарбаба-дхарбаба, абра кадабра“ какая-то вылетает из хриплой гортани.

Вот спорщик-то!

Небо—густеет, темнеет.

С востока, из тускляди тащится ослик по заросли кактусов, перегруженной сребристыми сучьями вялой оливки; его и не видно под нею, в сребристой копне ухитрился воссесть погоньщик (собирают оливки теперь), но копна зацепилась за кактусы; и—опрокинулась в пыль; опрокинулся ослик и сам погоньщик; из кафэ выбегают арабы к упавшему ослику: смехи и ругань.

— „Ирррр-ирррр“—понукают животное.

В меркнущем вечере ярко бела вереница домов; она немо слетает с холмов, осрываясь в долину—и оливки; овал куполка подымается там, меж Радесом и дальней, Двурогой Горой, от которой теперь ползут шлейфы теней; и фонтаны пурпурных цветов, перекинутых там, подо мной, чрез ограду, спадающих в белую уличку—серо-пурпурные; в солнце любуюсь игрой переливов на красных фонтанах; любуюсь я белым арабом, бегущим по уличке; вот на ходу он сорвет мускулистой рукою пурпуровый цветик; воткнет его в ухо; и—цветик качается; брыжжет росою над профилем; он же бежит в миндали; миндали наливаются почками.

Радес 1911

45. С КРЫШИ

Вечерние просини белых простенок Радеса; и вот—растворенье пурпурных каскадов цветов, выбивающих густо из стен: растворенье, смесительство контуров, красок и далей; заостренность звука; остылости ночи; пора притаиться под кровом тяжелого, толстого домика; я пробегаю по крыше, зашлепавши красными туфлями; передо мной вырастает стена; это—третий этаж, точно кубик поставленный на второй и задорно привставший, как башенка; здесь, в этом кубике, в башенке, коротаем мы ясные дни; вот проход: в белый домик.

Одновременно он—дверь и окно; зеленеет железом литая решетка; и нам угрожает отсюда порезом кусочек стекла; изнутри деревянные ставни закрыли отверстие, защищая его от наскоков вечернего ветра.

Ветра ударяют с разгона в железо решетки, они истончаются в присвисты; темные ночи Радеса со мной говорят; мне звонят, дребежжат неумолчно осколками стекол: проходят по комнатам, смежным со спальною комнатой выспренним присвистом; дзанкают стеклами:

— „Дзан-джан-джин...“

— „Ууу"—заукает звуками ветер.

— „Дар-дра-дхар-баба"—говорят, быстро прыгая, деревянные ставни.

Арабская речь раздается из всех дребезжащих, заукавших окон; и—звукопись ночи по-своему чертит, бросая нам в уши,—любое окно: африканские ночи наполнились говором.

Многие окна без стекол; в немногих—стекло сохранилося: в спальне, да в комнатке, выдолбленной посредине тяжелого кубика башни, в которой проводим мы дни.

Мы—одни...

Стекол нет в правоверном арабском жилище: то—роскошь; система двух-трех друг на друга надетых решеток вполне заменяет стекло; изогнулась пузатая внешняя; и под нею другая: узорная, тонкая; и точно сито, она изошла роем мелких отверстий; так ветер, ударясь снаружи в систему железных преград,—засочится по комнатам; пламень сирокко становится веяньем летами; зимами—мощный, заморский Борей; оба ветра текут тихоструйно по комнатам домика.

Если к окошку подходит арабка,—снаружи ее не увидит никто; но она—все увидит: проходишь по уличке: чувствуешь зоркий, тебя дозирающий взгляд сквозь систему преград.

Под окном я, бывало, простаивал ночи:

— „Дзан-джан..."

— Говорило отверстие звонким стекольным осколком; я думал о том, что с женою—одни в этом доме; ночной, белоглавый шатун пробирался, бывало, по белой стене, озаренной луной, притаивши оружие; и—пропадая в ночных закоулках; и мне вспоминалось: единственные европейцы Радеса—monsieur Epinat, да хозяйка „Rureau de Tabac", пожилая madame Ребейроль, нам сдававшая домик; она обитала—отдельно.

Помню: читали в газетах: о шалостях берберов, кучка ночных шатунов ведь могла появиться у двери; один лишь удар, разлетелась бы дверь; и—отрезан единственный выход; по лестнице—топанье; вот раскрывается дверь: и бурнус, прижимая кривую, блеснувшую саблю...

— „Джин..."

— „Джан..." дребезжали осколки.

К окну подзывал я жену, развивая ей планы защиты:

— „Послушай: одною рукою я выхвачу револьвер, а другою схвачу эту грелку";—тяжелую грелку—„я буду грозить револьвером; и тем, что горящую грелку я брошу в араба. меж тем выбегай ты на крышу: кричи, что есть мочи",

Уверил себя: план защиты—блистателен; ночи текли; по ночам подходил я к окну; и окно говорило:

— „Джан".

— „Джин".

И никто не являлся.

Я помню: отчетливый стук издалека—в дверное кольцо; от ночного смешения звуков казалось: стучат в нашу дверь:

— „Кто бы мог это быть?"

— „То—monsieur Epinat...

— „Но он—спит".

— „Посмотри-ка в окошко!"

Окно: я не раз под окном озирал всю окрестность—из третьего этажа; мне виднелась отсюда луной озаренная дверь—наша дверь; и—дверное кольцо; я отсюда, невидимый, в щель „дарба-ба" мне болтающей ставни готовился храбро расстреливать кучку разбойников; но—никого; никакая неверная тень не маячит на той бирюзовой стене. вдруг—отчетливый стук:

— „Ту-ту-ту!"

И—гортанные выкрики:

— „Дхарба-ба... Дхарба-ба!"

Вижу: вдали у косой, оголенной площадки седой от луны мускулистый араб бьется в дверь: желтый луч фонаря упал сверху из ярко-зеленой, пузатой, железной решетки над ним; женский голос ответил арабу, луч сгинул, чтоб броситься через минуту из скрипнувшей двери:—бросился; в луч убежал мускулистый араб; все—захлопнулось; тихо.

К гортанному выкрику, к стуку в дверное кольцо мы привыкли; мы знали часы этих стуков: в двенадцать, в час, в два;

в час вернется сосед наш по домику; в два и в двенадцать— стучат и кричат о закоулках; а в три — уже первые скрипы проезжей телеги. Радес—просыпается.

Радес 1911.

46. СТАРЕЦ

Радес и грозен, и горд; и—снежится тюрбаном, затянутым прочной веревкою; он—белоглавый орел; усмехаются губы его в седину; крепкотелые старцы глядят отовсюду, нахмурив косматые брови; и плечи, и пояс, и бедра, и мускулы ног позакрыты плащами: пышнеют плащами.

Плывут на тебя, утаивши в плесканье плаща серебристый кривуль переточенной сабли, которая брыжжет, как молния: в складках плаща; и—падешь с перерезанным горлом; старик оботрет лезвие. и — пройдет, закрываясь бурнусом; ты—ляжешь, тихонько хрипя: с перерезанным горлом.

То будет в Марокко, где крепко не любит тебя сребробровый старик.

Здесь, в Радесе, дойдя до тебя, сребробровый старик разорвет на груди беловейные складки. и—золото шерсти, шелков переливы блеснут; перламутром прояснится грудь; и как небо из белого облака, глянет нежнейшая синь г о н д у р ы [1]); вместо сабли протянутся бронзой горящие руки к тебе. и—к челу: то— с е л я м.

Поведет за собою в кафэ. угостит обжигающим кофе из маленькой чашечки. ты отопьешь лишь глоточек, спеша упредить; это —знак благородности; вы тащит красный, сафьяновый золотым шитый кошель—заплатить.

Не противься.

Кафэ же набито сплошной белизной. загорелые пятна коричневых берберских лиц устремились к помосту; дудит тонко-

[1]) Длинная рубашка ниже колен, которую арабы носят под плащом.

ствольная дудка; какой-то гордец, размахнувшись костяшками пальцев, ударил в „там-там“.

А доселе согбенный, рябой сельчанин (очень многие рябы: свирепствует оспа), сложив на груди волосатые руки, согнувшись дугою, стрелою кидается с места к помосту; и там—вытопатывает над зажженной жаровней под хохот и шутки.

Седой, сребробровый старик, затащивший в кафэ, предовольно хохочет:

— „Что это?“

— „А то подражание—пляскам в мечети“.

— „Но это—хула?“

— „Почему? Это—шутка“.

Ты знай, сребробровый старик, созерцая священную пляску, в мечети, способен зарезать тебя, коли, ты, обернувшись арабом, проникнешь в мечеть (в Кайруане открыты они; здесь—закрыты);—р у м и, неверный; в к а ф э же с тобой добродушно хохочет старик, отпивая глоточками кофе; и—наслаждаясь пародией.

Слышишь—цветистые речи: целебны радесские дни; незлобивый народ проживает в Радесе.

Расстанетесь: гордый старик понесет белый лоб в закоулок, исполненный света и тени, пройдя под потоком пурпурных цветов, выбивающих—там, из стены.

С той поры зашатались: в пестрых базарах Радеса, Туниса.

Радес 1911

47. А Р А Б

Под окном наблюдаю арабов; и—сколько достойнейших старцев, и крепнущих юношей, и благородных мужей, завернувшись в бурнусы, проходят; резец благодушия, может быть, хитрости часто ума проработал загаром одетые лица; порой под корою спокойствия—бури; и только два кратера, два наблюдательных

глаза, сверкнут, изливая куда-то в пространство текучую лаву бунтующих жестов.

Арабы!

О, нет, не обломки далекого прошлого: что-то от арок, от ясных фаянсов, от перлов фонтана, от радуг, от сказок, от сказочного калифа, Гарун аль-Рашида, от мудрых мужей на тебя приподнимется, в душу уставясь, когда тот почтенный старик в голубой гондуре поплывет через площадь: Аверроэс и Гассенди припомнятся, может быть, может быть, вспомнится Абу-Новас, знаменитый поэт, прославлявший эпоху калифа Гаруна, иль вдумчивый старый Абу-Атахийя, калифов поэт, поглядит на тебя исподлобья, и—скажет: „земные утехи—обман“.

Что-то есть от калифа Гарун-аль-Рашида в том старце, который так медленно передвигается, опираясь на палку и взад, и вперед под окном, не худой и не толстый, скорей все же полный, он гладит расчесанный шелк седины—бороды; и — достойно, внушительно поднял лицо; его грустные очи уходят в себя, и не видят вокруг ничего; белый матовый лоб переходит в платок кружевной (с золотым вышиваньем) тюрбана; обмотана феска платком кружевным; не торопится: передвигает чуть-чуть он ногами; он—в снежных чулках и в зеленых, расшитых узорами туфлях; остановился; и—шутит с прохожим арабом; потом, величаво поднявши рассеянный взор, он нахмурится от багровых ударов заката, потрет переносицу тонкого носа, и—тронется дальше; заря освещает его; опирается о крючковатую палку; и левой рукою ведет арабчонка (наверное, внука); и вот из под туники, низко упавшей, видны шаровары (зеленые); туника—с вырезом, розовый вырез груди, бирюзовая, бледная, нежная туника: старый араб,—бирюзовый араб; как сплошной лепесток, от плеча отлетает его белый плащ; помавая откинутым капюшоном—с плеча, точно белая: плещется старец вечерними ветрами; белые облачки, белые стены домов, бирюзовое небо; чуть розовый воздух. Калифр аль-Рашид по базарам бродил точно так же, неузнанный, и—про него говорили:

— „Смотрите-ка: вот так почтенный купец!..“

Уже тихо проходит араб; он—спиною ко мне; пышно падают, разлетаяся, мягкие, белые складки. и кажутся мне лепестками; вдруг гордым движеньем, накинул сквозной капюшон. и, рукой натянувший изящные складки, через плечо перекинул их; край снегового плаща повисает; широкие плечи надулись; у ног—все обтянуто: точно опущенный чашечкой долу цветок—не старик, белый, белый, и вот—повернулся; рукою раз'явши свой плащ. из него он выходит совсем бирюзовый. а плащ, точно колокол, справа и слева, и сзади качается.

Стадо рогатое коз пробегает к цистерне; закинули и кактусов космы. медлительно в кактусах бродит старик, опираясь на палку: ведет арабчонка. и—думает думу; быть может, арабский слагает свой стих, высекая в сознанье, как искру, летучую рифму:

> Кабили это знают, что я и весь мой род
> Скрестить умеем в битве железа переплет [1]),

Он задумался тихо о битвах, а может быть он так, как Фет, сочиняет стихи своей милой: Фет старцем слагал свои песни любви:

> Лейлы явные и тайные приветы во власти вашей запретить,
> Но петь ее в тиши, по ней мне слезы лить
> Вы запретите ли [2]).

Быть может, слагает арабский свой критик, слагает родной хориямб[3]); он любитель поэтов Шаррана, иль Шанфары, иль Амрилькайся, которого Магомет посылал прямо в ад и которого нам перевел немец Рюкерт; быть может, теперь, на заре, вспоминает поэта Сукейру, который стихом воспевает общественность?

Кто его знает.

Кто он?

В этом доме с верандами, знаю, живет туниссийский министр

---

[1]) Изъ поэта Обеида.

[2]) Из арабской поэзии.

[3]) Арабские поэты писали критиками, хориямбами и амфибрахиями.

его брат, как сказали мне, беден, но славен, достоин и знатен; он ходит порой балагурить в табачную лавочку; может быть, этот старик—брат министра; быть может, калифская кровь бьется в жилах его; это он угрожал нам когда-то; а, может быть, это купец, повидавший весь свет, бывший в Индии, в Мекке, в Багдане, в Ширазе, в Басре; если он нам поведает тайны своих многолетних скитаний, то мы не поверим ему: ему ведомы джины пустыни; и ведом таинственный Гумр, о котором писал еще старый географ Эдризи; и Рок, величайшая птица, кружилась над этой главою?

Кто он?

Я—не знаю: вернее всего он владелец хорошенькой, изразцами обложенной лавочки, углубленье в стене без окон и дверей; здесь торгует он тканями, фесками, кошельками, свечами, причудливым ковриком; днями сидит—пестрота в пестроте!—угощает гостей своим кофе, сажает гостей на софу, и пускает колечки из дыма над старым, кальянным прибором; торгуется, пересыпает цветистою речью сарказмы; таков он, коль он есть купец, а не к а д и [1]).

А если он к а д и, его на суде повстречаете вы: он пройдет по мощеному дворику среди платков и тюрбанов—в отдельную комнату; медленно развернувши платок, из него он достанет очки; насадив их на кончик орлиного носа, согнется над перьями, книгами, горкой бумаг, проседая в подушку (подушка лежит на ковре); поджав ноги, он судит; в распахнутой двери дичайшее гиканье белоглавых арабов, мелькнет адвокатская феска, покрытая плюшевым, серым плащом (каких в селах не носят) с изящнейшим европейским зонтом. К а д и — судит; лишь к вечеру он приезжает в родное село: погулять на закате; а вечером он благородно-торжественно удаляется в белую башню (квадратную) с зеленовато-железным, решетчато-выпуклым, стройным окном (его дом); тут и плоская крыша, и рядом стоящий немой кипарис; за оградою каменной—дворик с прохладной ци-

---

[1]) Судья.

стерной, где ярки колонки, аркады, где блещут цветы, где — фонтан и откуда во внутренность дома уводят пестрейшие двери: висящие ручки изображают железные руки; такая же — входная дверь (под пузатым окном); и на двери дощечка с арабскою надписью.

Кто он?

Не знаю [1]).

Он — сказочен: вовсе не сказочен тот черноусый красавец, который сидит, заложивши за ногу белейшую ногу, — в кафэ, посылая селям бирюзовому старцу; красуются — ярко-сафьянные, красные с золотом туфли. и — бархатный, серебристо-сереющий, дымный, спадающий плащ, — преувеличенно длинный; и феска-четья театральною кистью свисает; и то знаю я, адвокат из Туниса; я видел его в „казино"; и теперь вижу — здесь; он беседует с Шейхом села, облеченным в костюм цвета темных оливок; белейший, атласный тюрбан опускается веющей нежностью прямо на плечи почтенному шейху и шейх — воплощенная дикость:

Мне ведом давно адвокат; ведом — шейх; бирюзовый старик мне не ведом.

Радес 1911.

48. У ДВЕРИ

Прекрасны решетки пузатых и маленьких окон; чрезмерно столщались стены домов; белый дом — часто камень, в котором, как будто продолблены пять или шесть комнатушек, — прохладных тогда, когда камень снаружи калится сжигающим, пятидесятиградусным жаром. и — оттого: даже летом, когда европейцы томятся в своих тонкостенных, краснеющих виллочках, в доме араба — прохлада и нега.

Стою я на крыше; уж ночь: открываю оконную дверь: про-

[1]) Я впоследствии познакомился с описанным арабом (см. II часть, отрывок: „Али Джалюли").

хожу, пригибаясь, в клетушечку-комнатку; в полтора шага комнатка: кресла поставить нельзя; сев на мягкой подушке с прохладным кальяном у ног, будешь видеть отсюда ты крыши простертых домов, с заседающим где-то на крыше арабом; ты будешь вести с ним беседу из щели окна через уличку; будешь ты видеть миндаль, розовеющий издали, горы, лиловые вечером; если захочешь, ты будешь невидим соседом, как ты, заседающим прямо напротив.

Уже зажигаю свечу, закрыв ставни дверного окна, чтобы ветер, взревев, не ударился в дверь моей спальни; при блеске цветут розоватые цветики пола в синеющих листиках... пола; по листикам, блещущим цветикам изразцового пола иду, проходя в пятигранную, безоконную комнатку с белыми стенами, с ярким орнаментом пестрого пола; а рядом бросается льющийся луч чрез решетку соседней клетушки; и на полу—теневая решетка: и вечно распахнуты ставни (и—ходит прохлада); отсюда крутым, изразцовым винтом низвергается бесперильная лесенка в нижний этаж.

Прохожу перемигом свечи по распластанным розовым розанам пола; винтом обрывается лесенка в первый этаж, где нет комнат: пространство передней да дверь; да еще: проход в погреб; наружная дверь раскрывается днями; в дверное кольцо раздаются удары. и шаркают пестрые туфли по лестнице—вверх: и просунется красная феска, чечья, арабчонка с корзиной кореньев; просунется белой чалмою меняла предметов с прекраснейшим золотом шитым корсажем à l a б о л е р о (в этом золотом шитом корсаже гуляют арабские дамы); и—торг начинается; он продает за бесценок прекрасный корсаж: соглашаюсь купить. он—уходит: ходить по домам, оглашая ту цену; цена подымается; после вернется ко мне; и—об'явит: „цена поднялась...“

Так неделями здесь совершается торг: б о л е р о я куплю.

Или дверь распахнет величайших размеров араб с изощренною клеткою; клетка—прекрасна; но что мне с ней делать?

Араб заявляет:

— „У бея, monsieur, в Гаммам-Лифе,—такие же клетки...“

— „Я в них не нуждаюсь".

— „Напрасно .. И бей любит клетки..."

— „Мне некого в клетку сажать..."

— „Я могу принести попугая..."

— „Куда я с ним денусь: мы скоро уедем..."

— „Напрасно... Сам бей..."

И мне жаль старика, у него захирела жена лет пятнадцати; Ася с madame Ребейроль посетила недавно больного ребенка: ведь женщины вхожи к арабам в дома, а я—нет: я—мужчина.

В открытую дверь то и дело проходят—арабы, рои арабчат, сицилийка-старуха, которая убирает нам комнаты. даже мохнатая козочка, наша Blanchette, иногда протопочет копытцами—по розоватым и звонким камням: забодается рожками.

Радес 1911

49. ЗАПИСИ НАБЛЮДЕНИЯ

Днями сижу у окна, и любуюсь арабами: бирюзовым, зеленым, оливковым, шоколадным и серым; и—думаю: нет двух похожих арабов; у этого, серого—синие туфли; зеленый надел на себя туфли желтого цвета; в морковных заостренных ходит большой бирюзовый; у шоколадного туфли, как кровь; и плащи всех цветов; всех оттенков легчайшие туники: синяя туника—бледносереющий плащ; сероватая туника—кубовый плащ; иногда—два плаща, верхний—веющий, белый бурнус. нижний—синий; манера носить, перекидывать, перекручивать плащ, собирать его в складки, развеивать в ветер—иная у каждого; разнится—в местностях, разнится—в роде занятий; и разнится—в склонности; все темпераменты видишь ты в складках плаща; каждый пестрый костюм—немой жест; не фигура араба проходит, а—слово, огромное, внятное; много манер перевязывать фески, откидывать за плечи острый плаща капюшон; у кого он—торчит за плечом, у кого—упадает; кто носит его на плече, у кого он ложится на спину

Но стоит им всем завернуться в бурнус, все они—привиденье: один к одному—неподвижны, суровы, надменны и замкнуты!

Вижу—столетья высокой культуры кричат в каждой складке; как опытный старый геолог по камню расскажет историю древней эпохи; и—встанут картины, так я по случайному жесту прохожего вижу достойное прошлое этой страны; в каждой мелочи—вкус: вы вглядитесь в оправу простейшего, сельского зеркальца: форма его—пятитомный трактат о истории вкуса; оно стоит—франк, или два: черносерые, желтые, белые деревянные полосы, треугольники, звезды сложили чудесный орнамент; ручная работа. а вот—кошелек: небольшой, но—сафьяново-красный; застежка есть ручка „Фатьмы [1]", чуть просунутая в полумесяц; серебряный блеск изощренной застежки на красном сафьяновом фоне—Симфония Колорита и та простота, о которой мечтал еще Рескин, она воплотилась в нас; воплотилась—до нас: у араба; здесь не было, может быть, Рафаэлей искусства, но не было гнусных шаблонов; быть может, быт жизни дошел до Джиотто, и—стал.

Но Джиотто вошел, воплотился; веками не стерт: вот он, вот.

Посмотрите: верблюд протянул рыжеватую шею; и смотрит змеино-овечья, надменная морда, любуюсь верблюдом; культура его довершила: коричневорыжий чепрак из верблюжьего волоса конусом мягко покрыл его горб; и он кажется продолженьем верблюда, как... ракушка; смотришь, и—видишь. что то—не верблюд; длинноногая черепаха какая-то; быт разукрасил верблюда фантазией: сказочен он; эта сказочность, соединенная с трезвою пользой (чепрак укрывает верблюда), черта всей культуры арабов; она—прикладное искусство: искусство красиво прожить свою жизнь.

А обычные домики горожан и сельчан?

Ассиметричная, трех'этажная, белоснежная башня; туда—двух'этажные стены; сюда об один лишь этаж убегает стена;

---

[1]) Руки «Фатьмы»—талисман.

дом—система поставленных кубов; под башнею—оживальная арка с точеным на камне орнаментом; он - кружевной, это—вход; за стенами—цветенье аркад, завиванье цветов и коллонок, циферна; крутая, витая цветистая лесенка вверх: переходики, углублениe, пестрые комнатки и—дверь на крышу; отсюда бела панорама простертых причудливых стен, куполов, кипарисов и пальм; сини озера: розовый пух над водою глядящих фламинги ослиные окрики...

Жизнь—брызги красок; особую цветочуткость арабов отметил Карьер [1]); он отметил импрессию, суб'ективность у них в изобразительном творчестве, цветики, звери и люди—не подражают природе, ее стилизуя, сплетая цветочный орнамент из льющихся линий; везде—симметрия фигур на коврах; очерк контура краскою не подражает природе, а—созерцанью, мистическим смутностям чувства; арабский поэт говорит; ты—

«Старайся овладеть сердцем...
«Сердце важнее тысячи строимых людьми храмов:
«Друг Божий соорудил Каабу,
«Но в сердце зрится сама слава Божия [2]).

Архитектура арабская обращена вся во внутрь; галлереи, аркады, фаянсы на двориках: голые стены—наружу; сперва и; „харамы“ [3]) суть кубы. первоначально мечеть, примыкающая к Каабе—есть куб куб; „Харамо“ позднее венчается куполом; купол же взят в Византии; колонны—античные; их приставляли со старых развалин (как видим мы то в Кайруане); потом стали им подражать, утончили, украсили шейку, придав ей отчетливо форму цветка; перегиб цветовых лепестков развил дуги; простой полукруг меж колонн стал со временем стрельчатым, появилась подковообразная форма, которая ранее появляется в Индии, в Персии, у Сассанидов мы видим ее; и поздней—у арабов; Ев-

---

[1]) «Могаммеданская архитектура» (см. III том: «Искусство в связи с общим развитием культуры).

[2]) idem.

[3]) Храмы,

ропа, заимствуя дуги арабов, системой ожив развивает отсюда великий готический стиль.

Вижу: выгиб подковы достиг совершенства в арабеском, изысканном зодчестве.

Пышно арабы покрыли стенную поверхность своей арабской; текучесть, сплетение линий рисует д в и ж е н и е образов—более образов; ритмы господствуют здесь.

Люблю разбирать арабеску: она состоит из градации однородных фигур, повторяемой разною краскою, в разных наклонах так точно поэзия их повторяет все тоже исконное слово, иль рифму в двоящихся, или в троящихся смыслах, как то отмечает Шнаазе: „Так точно манит нас своей загадочной игрой арабеск..., обманывает... намеками.., прерывается..., способен возникнуть опять..., как созвучные рифмы газелей“ [1]).

Все то вспоминаю пред домом богатых арабов, украшенным плитками белого цвета; на глянце—узоры, разводы; и—вспоминаю: искусство эмали и составление плиток вот этого изразца—мощный импульс, который развили арабы. он лег в основание многих индустрий; арабы развили великолепнейшее искусство „carreaux émaillés“ (например на мечетях Кордовы и Кадикса); остров Мийорка был центром испано-арабской индустрии этого рода; впоследствии итальянцы назвали „Майбрикой“ (именем острова) произведенье индустрии этой. „Майорика“ стала М а й о л и к а; и занялись: украшеньем церковных фасадов; в XV веке открытие белой эмали Лукой делла Робиа вызвало новые импульсы в производстве керамики; стал развиваться фарфор и фаянс, главным образом в городе этого имени; Франция перенимает искусство керамики; а Палисса обретает искусство соединенья эмалей и яшмы; так он создает „pièces rustigaes“ — борельефы; rustigunes figulines“—знамениты; и Катериною Медичи, женой Генриха, он поощрен; развивается пышно французский фаянс; и Луи Пьетера, фабрикант, изощряет искусство в XVII веке. [2])

---

[1]) Idem.

[1]) A. Lemaitre Le Louvre. II часть, абзацы XXV—XXVIII. Aueré Potier: Histoire de la faience de Rouen.

Я думаю: „Скольким обязаны в прошлом арабу!“

Вот — бедный араб; цвет лица его — белый, смуглеющий, темно-коричневый, черный почти, все оттенки от бледного мавра до негра; на нем белый плащ с капюшоном и кисточкой; он изукрашен тесьмою; порой капюшон цвета зебры; порою — коричневый; тускло сливается с почвой; коричневы сумерки.

Думаю я, что араб непонятен в Европе; и нет интереса к нему: жил, влиял, угрожал; и—бесследно пропал: где-то носится там на коне, или—спит над кальяном в прибрежиях Африки; если не спит, то... надел европейский сюртук; и—как все: среди нас рассуждает о Дарвине, о прогрессе, о клеточке.

Так бессознательно думаем мы:

Предо мною он в Африке вырос: он—был, есть и будет; он—вот; он—живой: он—влияет, захватывает, угрожает нам бедами; он—повлиял на меня; захватил все пространство гигантских тропических далей своим мусульманством: спустился он вниз—к Зензибару; он ходит по дальней Уганде, соединяя несметные полчища черных своею религией.

Пусть он—цветок, и пусть—сказка; цветы расщепляют, химически раз'едают твердыни; а сказки слагают действительность, ветер пустынь погоняет пески из пустыни—в Европу: Самумом Сахары отсюда провеется к нам.

Он—пустыня.

Она—зацветает миражем; а что есть мираж?

Выявление скрытой до времени правды; в бесцветном бурнусе стоит перед нами араб, точно давний покойник,—закутанный саваном; этому образу я перестал уже верить:

Я знаю, какую живую, безумную радугу может нам выбрызнуть белый бурнус, распахнувшись на миг; предо мной он развернут: живою водою фантазии брызнуло в очи; и вижу—ж и в о г о араба: на нем бирюзовая туника, с вкрапленной в ней чушуей серебра, ярко-красные туфли, златеющий, шелковый, канареечный вырез груди; зеленейшей живою чалмою склонился к Европе... из Мекки.

Араб-привидение умер в сознанье моем; этот призрак лежит под ногами живого араба, как сброшенный белый бурнус на лиловых фаянсовых плитках веселого дворика: вымощен дворик.

Алмазное око звезды протянуло ресницы лучей, поглядев на араба: „араб“, проводник—Магомет!—долго грёзил потом: его грёзы едва не убили Европу; и—встали в столетиях: белоснежные города, купола, минареты, фонтаны, фаянсы и гурии; и—полились арифметикой-алгеброй, арабескою, Аристотелем: Аверроэсами, Авиценами и Гассенди плеснули в Европу; от Индии до Испании развернулся причудливый веер культуры;—поднялся такой бурный ветер, что все учреждения наши могли разлететься песчинками; папы молили о помощи; ярый Бернард и начитанный Луллий почуяли грозный Сирокко, ожегший Испанию:

Но и доселе арабский Сирокко опасен Европе; вчера—был Махди; шейх Сенусси—сегодня; и что еще—завтра?

Арабы не спят...

Полумесяц и крест—оба живы; арабская сабля и меч не опущены в ножны.

В Тунис я приехал погреться на солнышке—на десять дней; и—не более; а очутился в Радесе: живу второй месяц в арабском селе; и—мечтаю попасть в Кайруан.

Да, я думал, как все, не увидев Туниса, о солнышке, цветиках; а о арабе—не думал.

О солнышке и о цветах я не думаю больше: араб предо мною возник в ослепительной, солнечной пестроти; и побледнели цветочки Тунисии в ярких цветах его быта, одежд, его комнат.

Радес 1911.

50. НАШ ДОМ

Пятигранная комната; в ней невозможно поставить предметов; четыре пустуют стены, а из пятой—простерлось сиденье, присядешь; и—встать не захочется; серозеленая дверь; и на ней генерал в яркой феске приклеен рисунком; приклеено изреченье, которого я прочесть не сумею: то—заговор: против укуса.

Смотрю с опасением под-ноги: что-то вон там копошится—в углу; тонкотелая палочка, под ноги мне побежала, на многих волосиках:

— „Ай"—восклицает жена; и, схвативши арабский подсвечник, весь в шашечках (желтых и синих), с которого капает на пол сквозной стеарин, начинаю преследовать я **волосатика**, ловко стараясь его прищемить красной туфлей; под туфлей защелкает он: я—казнил! Иногда волосатик бежит прямо в щель: притаиться в щели.

Не один „волосатик" смущает покой: я в углу подстерег паука: сел он на стене, растопыривши черные ноги: казался красавцем.

-- „Фаланга" сказала madame Ребейроль.

Есть еще неудобства: отсутствие стекол; и—холод на плитках блистающего изразцового камня.

Идешь со свечею, а блики, как стая златистых рыбешек, струятся по розовым розанам; скользко на лестнице, по которой ты бегаешь кверху и книзу; и вот оборвешься на лестничном скользком винте, где перила отсутствуют, нос расшибая о розовый розан; мне холодно: но наверху, в нашей комнате,—пестрый, восточный ковер; греет он; мы сидим на ковре, поджав ноги; читаем арабские сказки.

Опять пробегаю (о, множество комнат!): пространство теперь пробегаемой комнаты точно равняется ...—шагу: шагаю; и вот—попадаю: в убежище наше (здесь днями сидим), состоящее сплошь из одних только гордостей; думаем мы: удивились друзья бы, увидев нас; только здесь утопаем в комфорте; все прочие

восемь клетушек лишь рама к девятой, к вот этой; в одной из восьми можно спать; в другой—есть; в прочих комнатах (шесть их) ни спать, ни сидеть, ни лежать невозможно; в одной дует северный ветер Европы; в двух трудно не только зажить—завернуться; четвертая—кухонька, пятая и шестая—без окон; лишь в этой, в девятой, живем: в ней в длину—пять шагов; в ширину—целых три; в ней—две стенки: глухая—одна; а другая—сплошное окно, состоящее из трех малых резьбою друг к другу прижатых окошек — „глазков", приподнявших зеленые веки вверху подпираемых ставень—на дали оливок, на беленький маленький купол, пузато глядящий, на хутор далекий, в котором зажил египтянин-богач, и на стены лилового атласа, вставшего кряжами издали; а высунешь голову—влево увидишь: залив (карфагенский залив) за пространством цветов, крыш, заборов, за башенкой белого минарета; от неба на землю сквозь дали чрез воды весь день наплывают на берег рои парусов.

Как икона, в углу помещается главная гордость: кисть фиников (правда, плодов на ней нет); она—в сажень: оранжево-золотая; я выменял кисть за два су у мальчонка; и вот водрузили ее, как икону, мы в угол.

Вторая же гордость—диван, образованный из огромных размеров матраца, задрапированного великолепным арабским ковром; часть ковра протянулась на пол; и на нем, пред софою, стоит тонкогорлая сесби [1]), арабская ваза, принявшая форму раскрашенной каменной рыбы, разинувшей рот и из пасти кидающей на пол цветы, золотая курильница—шаром, на ножках; ее увенчал полумесяц; бросаешь кусочек куренья,—и тонкий дымочек пахуче простерется в пространстве, сочась из отверстий.

Вхожу: средь цветов в полосатых и желтых, и красных шелках над арабскими сказками никнет жена моя; лучики брызжут из грелки; и—замерли зайчики в розовых розанах пола; взлетает дымок; на ковре—теплый чай; за ковром—бесконечные речи,

1) Кальянный сосуд.

задумчивость, сказки; и — песня араба, унывно гортанная издали.

Здесь коротали январские дни; и сюда возвращались с февральских, цветущих полей.

Радес 1911 года

51. ДУНОВЕНИЕ

В сказках, сидели и дни, и недели вдали от Европы, забывши Европу; прочитывал книги о милой Тунисии, Африке; влекся мечтой... в Тимбукту; и—к таинственной Диэннее, забыв все на свете: приподымалась живою, громадою... Африка: жалко Европа зажалась в кулак.

Забылось на время: течение политической жизни, забылась Россия; забылись стремленье Москвы, круг друзей, „Мусагет"; и—таинственно вставшие мне, происшествия жизни.

То был—перелом: всех путей!

И Сицилия отошла в невозвратность; Сицилия.

— „Было ли то, что в ней было?"

— „Мозаика!.."

— „Темплиеры..."

— „Грааль..."

В Тунисии все обернулось пестрейшим рисунком ковров, как вот... этот (на нем мы сидим и читаем о джинах, о Гуриях, Шехеразаде, Синдбаде). И кажется, что ковер—самолет: нас несет, нам поет:

И снова странствует Синдбад,
Вступая с демонами в ссору,
И от египетской земли
Опять уходят корабли
В великолепную Бассору.

Н. Гумилев.

Арабская сказка пути, отчеканилась; после уже стала былью. И я вспоминаю:—

— „Где два или три ученика любви находят друг друга, там ощущают они и незримо средь них находящийся образ Того... Кто дал обет оставаться с нами до окончания мира... Он проходит средь страждущих... становясь видимым для них в минуты... душевной муки... Многие ученики год за годом присутствуют на гораздо более поздних обрядах... не имея силы принять испытания... Только когда настоящие друзья узнали друг друга в психической жизни, делается возможным полное посвящение [1])...

Сказка пути предстояла: вела она... в Дорнах; был должен раздаться откуда-то издали: Голос Безмолвия!

Мы—отплывали: вся пыль отвалилась; Тунисия, Африка были сигналами: отдыхом перед под'ятием в горы: стоял впереди непосредственно: Сфинкс; ожидал—Гроб Господень; и далее—издали высился купол Иоаннова здания.

Здесь, в подтунисской деревне, за сказками,—невероятно расширился мир; не могли больше стиснуться мы: до Москвы.

Я бывало вхожу—средь цветов, в полосатых (и желтых, и красных) шелках над арабскими сказками—Ася: присяду; и мы—поникаем над сказками:

И снова странствует Синдбад,
Вступая с демонами в ссору,
И от египетской земли
Опять уходят корабли
В великолепную Бассору.

Карачев 1919 г.

52. ДРУЗЬЯ

Припекает: февраль!

С белой крыши смотрю: лопасть пальм, гладкий ствол рододендра, мимозы; и—сикоморы пышнеют надувшимся кружевом зелени из-за стены, где, я знаю наверное, проживает богач; ме-

---

[1]) М. Коллинз: „Когда солнце движется на север".

жду зеленью—клетка; метается в ней тонконогая антилопа своим серым рогом; а я вспоминаю знакомцев.

Во-первых: monsieur Epinat,—моложавый зуав, многолетие здесь проживающий; он служил в Дугге, и знает Алжир; он читает Тунисию бегло, как книгу; она ему—родина; и письмена ему внятные, мне сообщает в рассказах; ему я обязан знакомством с арабскою местною жизнью; торгует он вместе с madame Rebeyrole в белостенном Радесе: содержит „Bureau de Tabac"; продает „anisette"[1]), днями роется с трубкой во рту в виноградном участке своем; ровно в час через площадь несет нам обед и бутылку вина; на закате беседует в лавочке с пышным арабом.

И нет,—невысокого мнения он об арабе:

— „Подумайте", мне говорит, пожимая плечами m. Epina, „каждый бербер—философ: и у него что ни слово, то—образ; источник, текущий из гор, для него—глаз горы... И, задумавшись, он добавляет:

— „Политика незнакома ему".

Сам m. Epinat есть политик; хоть он эксплуатирует местных арабов, однако ж и он—„socialiste". „Философия" для него есть род бранного слова.

О туарегах m. Epinat превысокого мнения: с ними дружил он, знакомясь в походах; встречаясь в пустыне. В Тунисии туарегов берут в сторожа.

Презирая арабов, m. Epinat при сношении с ними любезен, к нему они тянутся; кажется: их он ссужает деньгами, не забывая себя.

Вечерами спускаюсь из башни на двор, прохожу сквозь „Bureau de Tabac" в комнатушку m. Epinat за „Dépeche Tunisienne"; здесь присяду; m. Epinat меня учит; он вытащив свой многолетний бурнус (европейцы здесь часто заводят бурнусы и фески), передо мной драпируется, располагая поразному складки:

---

[1]) Род ликера.

— „Так вот, посмотрите, закидывает край плаща горожанин в Тунисе...“

— „А так драпируется бербер села...“

— „Так—учитель Корана...“

— „Так ходит алжирец...“

— „А вот—марокканец“.

— „Вот—мавр...“

И все тот же простой белый плащ предо мной принимает различие жестов; градацию жестов стараюсь запомнить; и кое-какие потом узнаю: на базаре в Тунисе.

Порою m. Epinat за собой меня водит; прогулки с m. Epinat—поучительны: выучил он меня видеть в Тунисии, что недоступно туристам.

Порою мы в лавке заводим беседу о жизни Европы; стук-стук: из отверстия двери просунется смуглый тюрбан („anisette“ привлекает его); и m. Epinat, улыбаясь, нальет ядовитую рюмочку; через пятнадцать минут: тук-тук-тук; та же все голова смуглача; «anisette» привлекает его, и m. Epinat, улыбаясь, нальет ядовитую рюмочку; раз до пяти появляется тот же смуглач, чтоб вкусить «anisette»; будет вечер; и знаю: еще темной ночью тут будут упорные стуки: m. Epinat раз в десятый нальет ядовитую рюмочку; после тюрбан разорется гортанными песнями в темную ночь: до рассвета.

Другой мой знакомец:—почтовый чиновник Максуллы (поселка французов). то—негр: разгубастый, одетый с иголочки, в смокинге. вертит курчавой своей головой, отчего кисть чечьи и летает, и пляшет. он — истый француз; он — грассирует, щеголяет новейшею модою, смотрится в зеркальце. с невероятной развязностью юрко проходит по станции; это — сплошной разговор глаз и жестов; тряхнет, подтолкнет, сверху вниз поглядит на араба, завьется волчком пред тупым сизоносым французом, владельцем двух вилл; я сдаю ему письма на почте в Максулле; он щелкнет малиновым толстым своим языком, выпуская из рта взрывы дыма он курит—сигару:

— «Hein!»

— «Russie?»

— «Moscou?»

— «Ar... Ar... bat».

А на станции хлопнет меня по плечу, проходя:

— «Me voilà».

— «Bon monsieur».

И мигнувши на двери буфета, прищелкнет:

— «Buvons?»

С какой стати? Я—морщусь. И думаю: скоро, наверное, хлынет во Францию множеством черных стрелковых полков; этот негр в европейской войне; может быть, города обреченной Европы займут чернокожие гарнизоны; французский писатель Данри предрекает Европе не гибель от желтых, а—гибель от черных. он пишет, что будет низложен турецкий султан; эмиссары, султана, проникнув в глубь Африки, свяжут в громадные стаи всех черных, которых с такою поспешностью день изо дня приобщают французы ко всем изощрениям техники современной войны; так, Данри предрекает разгром упадающей Франции черными в 1915 году.

Я смотрю на губастого негра:

И думаю я: ты из Конго? Ты, смотришься в зеркальце, душишься, куришь сигары и хлопаешь, московита, меня, по плечу; а, быть может, доселе твой старый родитель из Конго расплачивается вместо денег крючками и ракушкой [1]); младший братишка валяется в жирном от ила болоте, играя в любимое «дьяболо» [2]).

Негр, мой приятель, не нравится мне: мои вкусы влекут меня к берегам.

Шейх: высокий, плечистый и грозный; он ходит в оливковом темном хитоне; над черною смолью его бороды снеженеет развеянный шелк; и—ложится на плечи изящными складками. великолепием шейха раздавлен; со мной он рассеян, хоть...

---

1) Деньги негров Конго.

2) Игра, распространенная в глубине Африки.

вежлив; он вечно в делах: распекает, мятежится, судит; я вижу, как дышащий дикою гордостью профиль, обросший, как соболь, щетиной, окинет вокруг себя площадь, ища непорядок. и веют, белея, шелка на плечах, сочетаясь с оливковым цветом хитона и с бронзой загара до локтя его оголенной руки, на которой—железный браслет; вместо милой улыбки порою мне бросит свой гордый небрежный кивок: трепещу, потому что он весь—справедливость; пощады не ведает он; и карает провинности; если ж, катя в шарабанке с английским хлыстом в мускулистой руке, расцветет он улыбкой, пославши с е л я м—расцветаю и я.

В полосатом плаще, без тюрбана, но—в красной, ярчайшей повязке, меня поражающей яркою желтизною разводов, в потрепанной, синей своей гондуре потрясает графинчиком (то—«anisette») наш Али: раскричался он в кучку арабов; смеется сам старый, склонившийся негр, что сидит у припека весь день, подымая седую бородку. Али размахался руками; махает словами, и—

— «Дхáрбаба!»

— «Дхарбаба!»

Видно, он кутит. Али—превосходный работник; беспечен, как маленький; честен и горд; сын богатого бербера; мог бы Али не трудиться; но он распылался на скверный поступок отца, отказался от денег; пошел искать места; ты днем повстречаешь Али по дороге, обсаженной кактусом. За араба [1]) за скрипучкою (двухколесной телегой), запряженной мулом, идет; возит тяжести; тащит порой на спине голобокие бревна; а вечером—кутит: за уши просунув цветок, зашатается он по кафэ.

Вот, меня увидав, рассмеялся и—шлет мне селям (он целует свою бронзоватую руку, подносит ко лбу ее); выскочил с ним из кофейни—кофейник, Махмуда, (с остатками рваного носа).

— „Ali", я кричу, „bon courage".

И я слышу:

---

[1]) „Араба"—телега (не арба, ли?)

— «Киф-киф» — многосмысленность, среднее нечто меж да, хорошо, добрый вечер.

— „Киф-киф!“

Ухожу с края крыши к средине пылающей крыши; исчезли — Махмуда, Али, плоскость площади; передо мною прекрасные дали; и — плоские крыши.

Радес!

Ты аллеею миртов бежишь по уступам; павлиньими перьями блещут колонки, полы и простенки твоих изразцовых веранд; изрыгают студеную воду мордастые пасти фонтанов; поя наклоненные тяжестью цепких лиан, изощренные ветви лиловых соцветий богатых садов, где просунется рог завитой антилопы, слетаешь белилом гробниц, где из каменных ямочек птицы пьют воду [1]); встает над гробницей алоэ; и выше — печаль белорогого месяца; издали бьет Средиземное море — сплошным горностаем прибоя; морскою звездою и — странною ракушкой.

Я полюбил тебя, белый Радес: ты нас грел и лелеял:

> И я когда-то был твоим,
> Я плыл, покорный палигрим;
> За живнью благостной и мирной,
> Чтоб повстречал меня Гуссейн
> В садах, где роза и бассейн,
> На берегах, за старой Смирной.
>
> *Н. Гумилев.*

Боголюбы, 911 года.

53. ИДИЛЛИЯ

Ночь.

По ночам еще долго ведет бесконечные речи; одетые светом кафэ, молчаливо немеют на корточках белые тени.

Пора перебраться к ночлегу: из третьего — в нижний этаж (во второй); отправляюсь с тяжелою грелкой: нагреть нашу спальню; из теплой, пахучей конурки раскрою я двери в сыре-

---

[1]) Мусульманский обычай, показывающий на гуманное отношение к животным.

ющий мрак пятигранника комнаты с тысяченожками; раз до пяти совершу путешествие по винту скользкой лестницы—вниз и обратно: на верх. Все готово.

Как спится в Радесе!..

Мой первый стремительный жест из постели—скорей открыть ставни: и теплый, февральский златеющий солнечный сноп пролетает; и все проницает чуть веющим ветром; по пыльной дороге бредет за верблюдом верблюд под густой шерстяною попоной; последний горбач уже скрылся в косматые кактусы; быстро накинув хитон и просунувши ноги в ярчайшие туфли, бегу отворять дверь наружу: подбитые ноги гремят сапогами: madame Ребейроль вносит кофе.

За нею идет сицилийка, старуха (под семьдесят лет); у ней—свой язык: ни арабский, ни даже французский, ни даже... у ней сицилийский язык, а... козлиный; живет она с козами: в пахнущей комнате; сам мохоногий козел, может быть, ее брат—потому что на все издает она тонкое блеянье.

Ей об'яснить—нет возможности; и попросить у нее что-нибудь—нет возможности тоже; я знаю, что если я с вечера не уберу свою рукопись, рукопись будет наверное брошена в мусор; однажды нашел сверток чаю я воткнутым в ваксу; так нас прибирает она.

За нею в открытую дверь протопочет рогатая козочка; и — удивленно посмотрит, на нас помахав бородой...

— „O, Blanchette!“

— „Viens ici!..“

Кофе выпито; спешно бежим на прогулку, а то нас настигнет почтенный араб с своей клеткой; и, может быть, он принесет попугая.

Сбегаем с дорожки: косматятся кактусы,—выше сажени: колючие стены из плоских, мясистых зеленых налившихся дисков, которые—проткнуты; знаю, что—это; я сам не могу устоять; и—мечу свою палку тяжелым железным концом, как копьем; палка свиснет; опишет дугу; и—воткнется: диск—проткнут; так делают все.

Эти кактусы составляют не только преграду животным, от них защищая поля виноградников; к осени диски покроются сладким плодом: барбарийскою фигою.

Вот разорвется преграда; мелькает долинка, воскликнувши зеленью и выпирающей бурнофевральской травой, изошедшей здесь красным цветком, будто красным нарциссом (не знаю каким), там—лилово бледнеющим ирисом; здесь малокровную зависть скопляет лимонный цветок (ядовитый, как кажется); прыгает крупный кузнечик; свирелит под облаком малая птаха—махровые стебли фенокки [1]): то—суп бедуина; он—вот; тут вчера—никого; а сегодня, смотрю,—черносерые полосы скудной палатки над россыпью «красных нарциссов»; пред ней одногорбый верблюд жует диски от фиги, скосивши на нас свою гордую морду; смуглянка-красавица смотрит открытым лицом (без покрова) из рдяной повязки, вся в синем; брякает железными кольцами рук.

Появился кочевник: появятся стаи палаток и—стаи верблюдов; верблюжьими ревами тронется даль.

Огласятся поля; они—пашутся; лошадь и бык впряжены в один плуг; как коричневы, земли: они—в руках братства, все члены которого руководимы духовными лицами: то—трудовая артель; каждый член обязуется словом отдать после смерти контроль над землей всему братству: он сам, как и сын, получает доходы с земли; но продать свой участок не может уже; земля—братская; земли отходят к духовной коммуне Тунисии, подчиненной единому шейху; то сделано, думаю я, для того, чтобы гяур не мог раскупить всей земли.

От тропинки к тропинке: из зелени белый пузатится купол, которых так много в тунисских полях; они высятся из сереброствольной оливки, глядят на утесах, ютятся под стенами города, на перекрестках дорог; то—гробницы-часовни; прах местных блаженных, которых арабы зовут марабу, здесь покоится: благочестивец, ученый, чудак иль безумец, быть может, лежит

---

[1]) «Fenouille» по-французски трава со с'едобным корнем

здесь и для этого вовсе не надо стать дервишем, иль ассауйя [1]), иль даже хаджи [2]).

На стене, уж калимой припеком, метается рой теневых дисков кактусов; звучно колосики трав обливаются треском цикад; пламенеет полудень, жужжит: то—шмели.

Чу! С дороги, где каменный мост над ручьем—зычный глас, пыльный фырк: как стрела, разрезает окрестность кровавый авто; знаю--что, знаю—кто за зеркальными стеклами: верно сидит там дородный мужчина в расшитом мундире; и с саблей в руках: в красной феске; он мчится в Тунис из окрестностей, из Гаммам-Лифа, спеша на прием: это—бей, все еще обладающий свитой министров, которые правят туземцами при посредстве каидов [3]), полиции, шейхов; при каждом министре—француз-секретарь (для контроля); действительно ж власть вся в руках резидента; бей есть оперетка.

И грязен, и прост дворец бея в безвкусных пространствах, у горных подножий Двурогой Горы в Гаммам-Лифе [4]); пред ним лишь для вида поставлено несколько старых, нечищенных пушек; да—несколько горло дерущих, бесцельных гвардейцев блуждают вокруг; приближенные бея—я вижу их часто—скромнейше ютятся в вагонах второго иль первого класса, того поездка, на котором я еду в Тунис; это—тихие пожилые военные, в фесках, в перчатках.

Теперь проживает скучающий бей в Гаммам-Лифе (он—следующая остановка от нас кайруанского поезда: мы, гуляя, заходим туда); но обычно живет бей не здесь, а вблизи Карфагена, в безвкуснейшей Марсе; сюда, в Гаммам-Лиф, приезжает он брать временами горячие ванны (здесь бьет знаменитый источник горячей воды).

Тишь и сон: возвращаемся. Ждет нас обед: наши книги, арабские сказки, досуг, теплый чай; иль—работа.

---

[1]) Прошедшим сполна школу дервишизма.

[2]) Побывавшим в Мекке.

[3]) Губернаторы.

[4]) „Царское Село" Тунисии.

А вечером—снова гулять.

Мы идем на холмы за Радесом; пред нами зубчато стоят захуанские кряжи; вдали—Захуан [1]), бьющий водами; из Захуана когда-то текли к Карфагену чистейшие воды по каменному водопроводу, остатки которого видишь досель и который мог спорить несокрушимою крепостью с римским: громадная масса воды наполняла систему цисцерн захуанской водой в Карфагене.

Идем на холмы: перед нами восходит рассыпчато красно-песчаная круча; налево ложбина, в которой теснятся пространства оливковых рощ—до высот Захуана, которые от Радеса находятся в расстояньe не менее сорока километров, а кажутся—близкими; до Захуана отсюда идет неуклонный под'ем (не крутой): круто—здесь: за Радесом.

Здесь камни дерут нам колени; жена, расстеливши бурнус, отдается рисунку (ряд дней зарисовывает она тот чудовищной толщины старый каменный дуб); я—карабкаюсь выше: в коричневой, пересушенной земле; передо мной—оловянный отлив низкорослой оливковой чащи; стоят на отлете сухие покатости почвы; вдали—гребни Атласа, горб Захуана (совсем золотой в этот час): горб—дракона, зарывшего пасть среди зелени; горб—лиловеет чуть-чуть.

Справа—круча обрывин: под ними—покатости изредка в вечер ерошатся деревом; вижу я издали, под собой, силуэт (то жена) пред чудовищным каменным дубом с из'еденным древним дуплом (его с'ели столетия); дубу, наверное, много сот лет; и пяти длинноручкам мужчинам его не удастся совсем обхватить; мы доселе не можем понять, образует ли ствол его только остатки ствола, или он—поросли стволиков, выросших в месте ствола; а за дубом,—опять таки: мягко покатость сбегает к оливкам; а далее: отблески стекол горят в Гаммам-Лифе, на фоне двух гор; эта вот есть С в и н ц о в а я: Джабель-Ресса, а та есть Д в у р о г а я (Bicornine); коли там на Двурогой Горе поуся-

---

[1]) Это «Mons Zeugitanus» римлян.

дется облако, знаем, что будут дожди; в этом месте встречаются: ветвь Сахарийского Атласа с ветвью Высокого Атласа; первая тянется в дали Сахары, вторая—проходит по берегу моря,

Внизу—подо мною лишь горные складки: но это—форт крепости; можно обстреливать весь карфагенский залив в этом месте; его бирюзовые полосы тянутся издали, прозеленев мелководьем у берега; там сети виллочек: это—Максулла; левее, из гори закатной едва намечается дальнее кружево стен, куполов минаретов: Тунис.

А за пространством залива, в залив четко врезался холм: это—Бирза; отсюда когда-то склонил Карфаген свои здания к морю; а ныне, оттуда белеет безвкусный собор, возведенный недавно лишь кардиналом Лавижери, просветителем Северной Африки, инициатором карфагенских раскопок и основателем современного б е л о г о   б р а т с т в а монахов (католиков). Если вглядеться отсюда, то ясно увидишь два пятнышка высыхающих озерец (в месте пунических портов); увидишь развалины терм императора Антонина.

Все—видно отсюда: на север, на запад, юг и восток превозвысились в далях зубцами Высокого и Сахарийского Атласа: как Захуан стал лилов!

В нем—ни отблеска золота! В яркой лиловости выступил темно-лиловый лишь тон.

Опускаюсь: снимаю с работы жену; и—влеку ее вверх: мы любуемся в выясни ясных закатов; уже Захуан весь малинов; в долине синеют уж сумерки, коричневые, а рыбацкие лодки из сини летят к берегам; от вершины холма наблюдаем бег сумерок: тени от гор уж не крадутся, быстро летят: все—покрыли. Радес под ногами бледнеет из сини, как тень; в этом месте когда то был римский поселок, по имени Пратес (per rates): когда-то залив приближался к Радесу; отсюда везли в больших барках усталых пришельцев,—в окрестностях много находят монет (монет римских), цисцерн и подземных ходов; белый домик наш выстроен, как говорят, над старинной цисцерной.

Сурова окрестность, где быстро зажегся огнями немой Гаммам-Лиф; и простерлась гора облысевшей двурогой вершиной; когда-то с вершины ее приносили кровавые жертвы Молоху; свершались убийства невинных младенцев; впоследствии римляне здесь учредили свой культ: культ Сатурна: но жертвы остались; декретом Тиверия культ уничтожен был; все же жрецы были распяты в мрачных лесах, покрывающих склоны Двурогой Горы.

Там—ущелье: старинное место!

Когда-то там высился город, по имени: Нефорис; неподалеку оттуда погибли войска повосставших наемников (до сорока с лишним тысяч); их всех раздавил Гамилькар толстоногой фалангой слонов; происшествие это описано в ярком романе Флобера.

Радес 1911 года

53. МАКСУЛЛА. РАДЕС

Шуршала жара на растресканных травах; шуршали и мы из растресканных трав, вспоминая о б е с е п о л у д е н н о м, — в час, когда блески и трески полудня во мне вызывали безумие звуков, которыми я называю трескочущий блеск:

«Цирк-цирк-цирк».

Вся трава осыпалася: треском и блещущим... „цирком"; и циркало все, осыпаясь цикадой: не верю в радесские роскоши я.

Из-за кактуса смотрит лицо, перевитое пестрым тюрбаном, залепленным гноем зрачком и—оскаленным ртом, выползая из кактусов на четвереньках, вогнувши дугою живот, зацепившийся за бледносерые комья дороги; провеяло облаком пыли на нас от калимого солнцем калеки; Гадаррою черное небо просунулось в синее небо.

Не верю в радесские роскоши я.

Уже два с половиною месяца мы появились в Радесе, за-

ехав в Максуллу-Радес—не в Радес: искать домика; в Эль-Ариане, предместье Туниса, искали мы тщетно; увидев снежайший Радес, помечтали:

— „Вот здесь бы!"

— „Да как это можно??"

— „С арабами!"

— „Без европейцев..."

— „Без мебели..."

— „Все же..."

И все же свернули в Максуллу, белеющую флерд'оранжем, откуда безвкусицей вздернулись красные кровли, где пучатся тыквы, где злой, животастый француз истребляет „gigot", где „t r a g e t i n t e r d i t", где куафер, и мясная, и винная лавка, где почта, где юркий почтовый чиновник (суданец) в чечье и в сиреневом смокинге тщетно затщился над адресом писем (...Ar... bat), где равняется строй кипарисов и где сизоносый м о с ь е, отдавая нелепую комнатку, хрипло сипит из-под „p i p e":

— „Je vous dis, que..."

— „Пуф-пуф".

— „Vous ne serais pas, monsieur..."

— „Пуф-пуф-пуф".

— „En contacte..."

— „Пуф..."

— „Avec c e s a r a b e s..."

Подан поезд: садимся столкнувшись с м о с ь е, у которого ворох моркови под мышкой, пинаемые m a d e m o i s e l l e, приподнявшей атласную юпку до щиколок; дамы брезгливятся, перегоняя арабок; на левой платформе Максуллы синеют рабочие блузы французов; на правой, Радеса,—белеют бурнусы.

Поехали: куст с овощами на шляпе у дамы мешает мне видеть, а Ася завалена вязкою желтых плетенок, откуда залопались сочные овощи: их „e m p l o y e r" из Туниса зажарит и с'ест; а пока он твердит горбоносому старцу в цилиндре с седой „espagnole" (тот профессор, как кажется):

— «Quand je mange mon gigot...»

Разговор переходит: к стрючкам, к «haricots», к макаронам; профессор сюсюкает сластности—об абрикосах (как кажется); мы—улыбаемся; оба француза, поджав свои губы, насупились; а «employer», засверлив нас бычачьими глазками, громко ругает каких то „двух русских“, им встреченных: и до Туниса гремит:

— „Je vous dis, que...“

— „Deux bêtes...“

— „Sales cochons“.

Я гремлю по-французски о том, как любезны арабы и... немцы (нарочно!); мне кажется, что «employer» диллетантски читает скабрезности классиков, не умея скандировать, как все французы, латинский гексаметр; „профессор“ читает романтиков и рассуждает на тему, чем лучше... „purger...“ по утрам.

Очумелые мечемся: агентства, справки, бюро средь сплошных avenues „de Russie“, „d'Angleterre“ и—так далее; вот забегая в бумажную лавочку, вижу, как юноша в кэпи себе покупает... цинизмы; заходит в кафэ, чтоб спросить „deux citrons“, и за столиком видим; как барышня с мальчиком вовсе — склонились друг к другу над столиком; грязно толкаясь ногами... под столиком; сыплется щедро за ужасом ужасик; ужасик выскочил бредом.

На «Place de la Bourse“ неожиданно: крошечный карлик, араб, протянулся кривым сухоручием, точно кривящимся рогом, за су, проедая такими глазами, что...

О! Проступила Гадарра: чернеющей бездной изорваны мороки синяго неба.

Мы—в поезде.

Верно погода испортится: будет норд-вест; виснет облако с рога Двурогой Горы; запахнувшись во вретище, будет шагать через лужи араб, наступая на кончики туфель,—в чулках белоснежного цвета.

Как будто жужжанье шмелиного роя, гудит в закоулке Радеса; оно превращается в лай:

— „Иль Алла!“

— „Иль Алла!“

Впереди выступают певцы; и проносят кровавого цвета носилки с широкими бортами; голое тело покойника плотно завернуто в красные ткани; пред телом—шагающий шейх; и в руке его—жезл; закоулок пролаял толпою белеющих конусов плотно висящих плащей, над которыми ходят шары белоснежных тюрбанов; из прорезей плотных покровов спесиво суровятся пятна лоснящихся лбов и метелки бородок и вееры снежных седин: все село распевает за телом:

— «Алла иль Алла».

И качается борт деревянных кровавых носилок над гущею белых шаров, прокатившихся гулом—за шейхом, за телом, за мраморнолицым муллою.

Резные носилки пропали; и—пуст закоулок; гортанные лаи заслабли бормочущим мороком; будто жужжание роя озлобленных шершней; недвижимый контур того же склоненного негра с седою бородкой бросается черною, ломкою тенью на выступе каменистой стены.

Это—умер араб, пространдавший, бросавший недавно из кубика башенки плачами плакальщиц душу свою по раздолью ночей; раз я видел; пошли с факелами; стучали в зеленые двери; гортанно пролаяли; знали: в селе есть покойник.

Не верю в радесские роскоши, кубовый вечер раз'еден, а все окаляющий диск дозирает до ужаса красным кусочком из кактуса: краюшком, искрою, точкою; нет ничего: убежал. И как красные щеки вспылавшего гневом лица,—все дома, все бока: и как сини провалов под злыми очами, таинственно вызрели тени простенков; они побегут просерением злости; и тучами пепла засыплют село; пролетит желтень окон кафэ на пылимую площадь; уляжется; будет лежать серожелтый ковер допотопною кожею ящера; дико покатится вновь саламандровым шелком затянутый бойкий живот непристойного юноши под похотливыми вздрогами ерзнувших ног—от помоста: чрез головы берберов.

Ночь оплотнеет, как камень, из белого кружева стен: растворенье, смесительство красок, заостренность звуков...

Пора притаиться: зашлепавши туфлями, я пробегаю по крыше—в окно, приподняв темносинюю лопасть хитона пред тем, как зажечь мне подсвечник (весь в шашечках!); чтобы не шлепнуться в розовых розанах пола, расплющивши красным носком волосатую ниточку с черной головкою:

— „Дзан-джан-джин".—это ожили окна.

Гортанные выкрики будут; и—стуки в дверное кольцо.

Через час, через два, через три; в три часа развизжится телега, приветствие утра.

Каир 1911

55. О „ВЫСШИХ" И „НИЗШИХ"

Сидим: в полосатых (и желтых, и красных) шелках завивается синий дымок сигаретки; и так же, почти безотчетно, завьется меж нами опять разговор; выпадает из рук у жены томик сказок (арабских) на пестрый ковер; и она, как бы в сказке, себе отвечая на мысль, вдруг роняет в пространство:

— „Араб есть цветок".

Я бросаю коричневый катушек в шар с полумесяцем, прыщутся многие струйки из многих отверстий теплом и куреньем:

— „Цветок,—это верно: но только с колючками".

— „Где же колючки"?—и Ася приходит в азарт; и вся тянется за сигареткой. Европа давно отрясает цветы: и—здесь вся почва в опавших листочках, которые топчем мы; так осыпается яблочный сад: посмотри же,—фабричные ситчики уничтожают прекрасные ткани; ручная работа арабов, в которой—XII век, сохранивший себя в кошельках, в зеркалах, в арабесках, в постройках сменяется: выбросом модных парижских изделий, коробками стиля нуво о восьми этажах, прокаляемых жаром уместным в Европе, бессмысленном здесь".

— „Ну и вот“, я шучу, „превращаешься ты в социалистку, все это суть прелести капитала; да, да: постараются сдернуть тюрбан, чтоб напялить цилиндр; и намеренно вводят в арабскую кровь злые тучи бацилл европейских пороков и недугов: здесь—anisette, там—французской болезни; чудовище с вылезшим глазом—больной“.

Начинаю и я волноваться: встаю и хожу, зацепляясь здесь—за матрац, драпируемый пышным ковром, зацепляясь за „гордость“, за кисть: она—в сажень; длина нашей комнаты—пять лишь шагов; два шага отнимает матрац; в шаг расширились веточки кисти: в два шага шагаю; мне—тесно, и, дверь отворив, я шагаю теперь в пятигранную комнату; и начинаю греметь из сплошной темноты:

— „И не будет того!“—отвечает жена.

— „Что же ты, за восстание что ли арабов?“

— „Не знаю, не знаю: арабы гораздо сильнее здоровьем французов; профессор, с которым мы ехали,—карикатура какая-то, а между тем он почтенный старик; ведь ужасно: прожив долголетнюю жизнь, оказаться с таким почтенным лицом“.

— „Он мышиный жеребчик“.

— „Здесь, в тихой деревне, почтенные лица у всех стариков: лицо старости явный итог целой жизни...“

— „Араб пробуждается; высшие школы в Каире, в Тунисе и в Бейруте: три прогрессивных газеты печатает здесь молодежь: это все гуманисты, как наш адвокат».

Молодой адвокат, европейски воспитанный, здесь проживает; он днями—в Тунисе, а вечером бродит по рощам в бурнусе из дикого, серого бархата, или на желтой циновке кафэ возлежит с чашкой кофе в руках.

— „Не люблю я его“, чуть-чуть морщится Ася, «он слишком подчеркнут, в нем выделка стиля во всем. он—народник, быть может, но в нем—нарочитость; то—будущий деятель африканских парламентов“.

— „Или... кадэ?“

— „Если хочешь“.

— „Так что же: тогда—шейх Сенусси; религиозная вспышка Ислама; и—кровь. Ведь не этого хочешь ты?

— „Ай, затвори скорей дверь: на полу копошится“; и Ася легчайшим прыжком, подобрав свой хитон бирюзового цвета, уже очутилась на стуле: в пылу разговора забыли мы вовсе, что дверь в пятигранную комнатку можно открыть только с риском: тысяченожка появится; вот и сейчас...

Зажигаю подсвечник: сплошной волосатик бежит мимо ног, утаившись в щели.

— „Здесь так душно, дурманно от запахов: лучше—на крыше“.

И Ася с опаскою, в руку забравши подол, пробегает на крышу под кем-то приклеенной желтой бумажкой, висящей на двери: то—заговор против укусов; в душистую ночь утонули все контуры; только на площади светят квадраты на пыли; то—из окон кафэ льются светочи; белая тень переходит тишайшую площадь, вступает в луч света и брыжжется ярко серебряной вязью на сини (в разорванном месте плаща) и серебряной веей волос; горделивый старик проплывает в кафэ.

Как люблю наблюдать эти мелочи быта; стараемся все их понять, оправдать, объяснить; впечатления наши—цветы; мы их вяжем в букетцы: я думаю, что «заметки» мои есть букетец: продержится день, и—завянет; увы, привезенный друзьям, будет он весь сухой; и становится ясно для нас, что поездки, что чтения наши, беседы и споры,—о чем? Об арабах? Об Африке? Но кому это нужно: невольно отсюда мне помнится выспренний стиль всех заседаний Редакции, где присутствуют мистики, логики, теософы, поэты, эстеты, эстетика—все соль земли!—для решенья вопроса о том, победил ли на только что бывшем собрании „схоластифутик“ схоластика, написавшего только что где-нибудь в Марбурге по вопросу о том, есть ли „форма формы“,—„форма формы формы“, иль был он разбит подголоском доцента, которого учит „пути“ подголосок монаха „Зосимовой Пустыни“; вот—заостренье культуры столетий в Москве, где соль жизни Европы; собрание избранных есть соль

Москвы; а собранье Редакции—соль этой соли, иль „пуп“ европейской культуры; вопросы, которыми мы занимались доселе в Москве, были „пупного“ свойства; мы пухли от пупности; ну-ка—попробуй, бывало, в наш „пупный“ концерт замешаться какой-нибудь голос, иль мненье, не „пупного“ свойства. Мы, выслушав мненье, сказали бы: „Да!“ и потом, отвернувшись, продолжили: Да, Ласк „формой формы“ дает основание думать, что старец Никита неправ, тем не менее“...

Африка—думал я—сунься-ка с „Африкой“ в „пупной“ Москве: убежишь—засмеют; или хуже: ответят молчаньем презрения, давши понять, что ты—пал, что из „пупности“ выключен ты: всем известно, что маятник высших запросов колеблется между вопросом о том, в каком смысле старинные оргии фавнов причастны реальностям литургической жизни хлыстов, и вопросом о том, в каком смысле невнятные смыслы Никиты осмыслили смыслы профессора Ласка...

Какая там Африка; и—до чего одиноки мы с Африкой: знать оттого нам не хочется думать о выспренней пухлости „пупных“ московских вопросов.

— О, сколько же в Африке „Африк“, невольно вздыхаю я.

— „Сколькие с будущим!“

. . . . .

„Африка“—сонно встает перед нами картина: оскаленный лев взвешен в воздухе; негр под ним падает в травы, роняя копье; хладнокровный же бритт, в желтой каске с вуалью,—прицелился.

— „Желтая груша на карте—для наших друзей иной Африки нет“.

— „Вероятно, нас спросят скучающим тоном: что ж, видели льва?“

— „Иль зевнут с высоты оголенного „пупа“: жарища в ней!“

— „Пуп-то увидим мы: в Иерусалиме есть пуп, не в Москве“.

— „И выходит: на „пупе“-то будем!

— „В Москве не поверят: когда привезли в Москву семь знаменитых холмов из священного Рима, венец Византии, то, кстати, тогда же захвачен был „пуп“...

Мы—молчим: перламутровогрудый старик, выходя из кафэ, оглашает окрестности лающим голосом.

. . . . .

Африку знают: в лице ресторанного негра, в безличье животной, развратнейшей пляски; слыхали, что был в ней магди, что она есть „восток“, что ходили по странам востока когда-то халдеи с законными женами... „халдами“; прочее будет показано „Куком“ (не тем, кто погиб в путешествии [1]): Куком, возящим туристов)— в поездке на громком авто из „Splendide’a в „Palace“, от футбола к оклоку: показано—издали.

Высшая, „лунная раса, что знаешь о гордом величии древних кушитских ученых, что знаешь о тонких кружках гуманистов в былом Тимбукту, где гремели Петрарки, где негр Али-Баба с кружком просвещенных друзей собирал манускрипты багдадской, сирийской, испанской, египетской мудрости, где Салютато, Никколи, Манетти и Поджио [2]) трудолюбиво копили веками отстоенный мед; мы его—не скопили, не копим; мы топчем его; и недавно плантатор спокойнейше щелкал бичом по спине Али-Бабы; „о, что Али-Баба: он — низшая раса“ — ответит, смеясь, Чемберлэн, повторяемый „трэгером“ нашей культуры;—и „трэгером“ просто; нет „трэгер“, „portier“ иль „facchino“ не будучи „пупен“, откажется щелкать бичом по спине Али-Бабы; отщелкает „трэгер“ культуры во имя достоинства всех „blonde Bestia“; Мечников и Топинар,—те серьезней; они остановятся; спорный и тонкий вопрос о культурах, решенный „купцом“, „культур-трэгером“ „пан-французом“, „пан-немцем“, еще не решен объективной на-

---

[1]) Джемс Кук в 1788 году был убит толпой дикарей на о. Гавайи, в бухте Килакекуа; о. Гавайи принадлежит к группе Гонолулу.

[2]) Флорентийские гуманисты

укой; и даже: решен в отрицательном смысле... хотя бы у Сколься[1]); ведь верит же, вот, марокканец, что он—„лучший в мире“, ведь верит же негр Тимбукту: правда Божия с ним [2]).

Говорю:

— „Вот и берберы: „barbari“ были они лишь для Рима; для них же и римляне были не эллины: “barbari„, „берберы“! Берберы Риму отсрочили час декаданса, послав двух сынов, двух Северов“.

— „Пора“—прерывает жена...—„Спать пора“!

Уж луна поднимается узким щербатым клыком из-за края вдали просиявшего облака; и—побежал с горизонта по морю серебряный сноп.

Каир 1911

56. ЧЕРНЫЙ ПЛАМЕНЬ КУЛЬТУРЫ

Я знаю, что Франция—в антагонизме с арабами; Франция—заключает союз с черным югом; уже наступает на берберов он; он вмешается в будущем: жерлами пушек, быть может, в тунисские судьбы; и мы, говоря о Тунисии, бросим хотя бы мгновенный, поверхностный взгляд—на интереснейшие страницы истории: нигерийской культуры:

Баммаку, Гао, Тимбукту, Диэннея и прочие суданийские города обладают историей, переплетая различные токи различных культур чрез столетия; в прошлом влияют культуры этруссков, Египта, сплетаясь с грубейшим язычеством диких народцев и с перлами мусульманской культуры, лучащей дары—от востока: из Иемени, Египта; от севера: из Алжира, Туниса, Марокко; слагается узел культур у сонгоев от, приблизительно, 700 года и до начала семнадцатого столетия; тысячу лет горит факелом черной культуры Нигерия—это послушное тело французов; по данным недавнего

---

1) «Страны и народы».

Марокканская поговорка.

прошлого население этой страны—от десяти до пятнадцати миллионов, меж тем как военные силы французов недавно здесь были ничтожны: по Нигеру плавали две канонерки и несколько вооруженных шаланд, переполненых черными, руководимыми офицерством; по данным недавнего прошлого на пространстве огромной Нигерии было разбросано до шестисот европейцев (ветеринаров, телеграфистов, врачей, унтеров, офицеров) да несколько тысяч всего негритянских солдат; перед этою кучкой покорно склонялась Нигерия; между тем: сорок тысяч зуавов стояло в Алжире всегда под ружьем.

Здесь, в Нигерии, города-деревушки; среди городов-деревушек стоят украшения африканского запада: Тимбукту, Диэннея.

Интересно описывает Дюбуа Диэннею[1]): когда к ней подходишь, пересекая ряд центров Нигерии и поднимаясь по Нигеру вверх,—изумление овладевает невольно; стоишь перед городом,—видишь действительно улицы, проведенные великолепно, с домами, имеющими два и три этажа удивительной, неповторяемой архитектуры; здесь нет ни подобия негритянских построек; и нет здесь подобия мусульманского, византийского или римского стиля; дома тем не менее и изящны, и просты; а в них узнаешь стиль построек страны фараонов: древнейший Египет встает; и лицо диэннейского негра разительно отличается от лица, характерного для суданца; приплюснутый нос исчезает: нос—острый, орлиный; в глазах—блеск ума; вся фигура его приближается к негру-нубийцу: вопрос возникает—как именно этот тип оказался на западе, здесь.

Таковы все с о н г о й ц ы, остатки громадного царства; они—в Диэннее, они—в Тимбукту; возникает вопрос, как попали сюда они. Что такое с о н г о й ц ы? Именование это встречается мимоходом лишь в географических повествованиях Льва Африканца; о них говорит потом Барт. Дюбуа производит исследование происхожденья сонгойцев; ссылается он на признания их, что их пред-

---

[1]) «Timbouctou la Mystérieuse»

ки—пришельцы с востока; напрашивается сама собою догадка: сонгойцы суть выходцы из Египта; и, может быть, из Иемени, история же Судана, принадлежащая тимбуктукскому негру Абдеррахману-Сади-ель-Тимбукти, написанная в семнадцатом веке, „Тарик",—указует, что первый сонгойский владыка, по имени Диаллиаман, есть араб, и что имя „Диаллиаман" происходит из сокращения фразы „диа мин ель Иемень", это значит — „Из Иемени пришел"; что столица сонгайцев в далеком их прошлом далеко лежит на восток от Гао: она город страны—той, которая именуется Миср; но в Судане зовут так долину принильскую: стало быть—родина древних сонгойцев — Египет; по мненю Барта Египет влиял на сонгойцев — посредственно через посредство арабских купцов. Дюбуа сомневается, чтобы так это было: во первых—возникновение Диэннеи падает на середину восьмого столетия; архитектура ее—не арабская; и лишь позднее, в одиннадцатом столетии магометанство проходит в Судан; и еще: почитанием рыбы разительно отличалися все сонгойцы от диких суданцев, которые не почитают животных, но искони—почитают: деревья и камни; культ рыбы—египетский; в нем узнаем почитанье богини Гатор; да, сонгойцы—пришли из Египта; быть может, они— египтяне, ушедшие через пустыни на запад, преследуемые мусульманами. Водворившися в Гао, они образуют свой город, и он— Диэннея; позднее они поднимаются уж к Тимбукту, возникающему лишь в XII-ом веке, в эпоху господства Ислама в Судане.

Сонгойское государство основано приблизительно в семисотом году; на протяжении тысячи лет перед нами проходят цари из династии Диа (происходящей от Диаллиамана), династии Сунни, династии Аскиев; из тридцати царей первой династии мало осталось нам сведений; в 1355 году та династия кончилась; до окончанья пятнадцатого столетия доминирует династия Сунни. Известнейший представитель ее Али Сунни — солдат, покоритель народов; он взял Тимбукту; он— раздвинул пределы Сонгоя - на север, на юг и на запад; о нем существует ряд сведений, что он гнал марабу, отличался

свободою нравов, был скептик, не соблюдал предписаний Корана, прислушиваясь к темным чарам языческой мудрости; так, арабский ученый из Тлемсена, ель-Мухеили, описывает быт царя Али Сунни: „Господь нас направил в страну, где... по имени называют себя мусульманами... Не имеют доверия к марабу... Здесь находятся люди, которые претендуют на знание тайн, обосновываясь... на положении звезд..., и на птичьем полете...

В 1494 году наступает в Сонгое крутой поворот к мусульманству, когда воцаряется родоначальник династии Аскиев, Магомет, по прозванью—Великий; он—шествует в Мекку; и ставши хаджей, получает названье эмира Сонгойского; он—посещает Египет; и развивает впоследствии импульсы мусульманской культуры Египта в Сонгое; наносит удары суданцам; и—расширяет пределы Сонгоя до озера Чад—на восток; покоряет Зегзепи Санфару; империя—простирается от Сахарийских пустынь, примыкающих с севера, до Баммаку (на юге); от океана—до озера Чад; так Сонгой вырастает в громаду, которую организует великий владыка—впервые законом; культурою, оригинальной культурою, процветают теперь Тимбукту, Диэннея,—особенно Тимбукту, где ключом бьют науки, искусства, куда притекают к ученейшим неграм (в университет при Санкорской мечети)—из стран отдаленных: Египет, Тунис и Алжир посылают сынов своих через Сахару,—туда.

В 1595 году марокканцы разрушили царство сонгоев; библиотеки Тимбукту разграблены; и Ахмет-Баба, ученейший негр, переживает пленение при дворе, у султана Марокко,—преподает там; и после идет умирать в Тимбукту.

Тимбуктукский университет был жемчужиной черной культуры во время сонгойского царства; гласит нам пословица: „Север снабжает нас солью; и одаряет нас золотом Юг; серебро притекает из стран, обитаемых белыми; слово ж Божие, мудрость повествования, сказки есть дар Тимбукту“; Марабу соединяют здесь функции проповедников, профессоров, утонченных юристов с мудрейшею святостью; и—обитают в квартале,

наполненном множеством иностранных студентов; „Латинский квартал“ Тимбукту окружает мечеть.

Тимбукту знаменито своими святыми; иные уходят от мира; другие же, наоборот, раздавая имущество бедным, стоят, как светильники, в шуме мирском; удивителен тимбуктукский патрон, негр Сиди Иахия, соединяющий в своей личности чудотворца, юриста, пророка, ученого и профессора,—одного из тех славных ученых, которых наука не уступала науке Туниса, Каира и Феца, которые совершенно свободно несли свою проповедь из мечетей на улицы; вот как местный историк описывает день ученого Магомета-бен-Абу-Бекра: он с лучами взошедшего солнца свершал свой обход многих мест, где учил он — до десяти; помолившись, он, далее, занимался у кади...; с двенадцати и до трех он учил на дому...; после он выходил и учил в другом месте...; с захода же солнца учил средь мечети.

Каталоги тимбуктукских библиотек, нас встречающие в сочиненьях суданских историков, интересны до крайности; сочинения религиозные, юридические и ряд книг по грамматике доминируют; но—представлены: литература, поэзия, медицина; книготорговля—цветет; фигурирует переводная литература Испании, Сирии и Багдада; библиофилы скупают охотно, где могут, се; библиотеки в тысячу книг—здесь не редкость; и мы в сочинениях исторических, принадлежащих исконным суданцам, то все узнаем; в них подчеркнута широта и терпимость ученых; и характерно, что черточки мусульманского фанатизма здесь вносятся не чернокожими, а арабами: чернокожий ученый—терпим.

Произведенья суданских ученых касаются права, религии и вопросов схоластики; менее многочисленны сочинения по истории, хотя очень значительны.

Средь ученых писателей выдвигается Марабу, Магомет Куту; он—сонгоец; он оставляет нам книгу „Фатасса“, в которой касается он истории Тимбукту и других городов, окружающих страны Судана, до 1554 года; среди ученых, имевших несчастие видеть плененье Сонгоя, особенно выдвигается Ахмет-Баба, скончавшийся в 1627 году: полиграф, остроумец; историк, оставил до

двадцати он томов; среди них—малый томик „Мираз“, живописующий быт окружающих негрских народностей; толстый том другой книги его „Ель Ибтихаджи“—библиографический указатель ученых, принадлежащих к распространеннейшей догме, а именно: к малефитской; он этою книгою прогремел по всей Африке; в ней же—источники сведений о тимбуктукской культуре.

И вот наконец перед нами „Тарик“, иль история быта, приписываемая Ахмет Бабе, но писанная Абдеррахманом-Сади-сль-Тимбукти в XVII веке; об этой истории Дюбуа отзывается с величайшим почтением; в „Тарике“ повествуется о событиях жизни Судана до 1656 года; та книга излюблена неграми; стиль ее ясен и прост; он свободен от вычур; Абдеррахман, автор „Тарика“—классик Судана; и Дюбуа, из которого черпаю я эти сведения, отзывается о „Тарике“—так: „перелистывая эту книгу, порою вдыхаешь тончайшие ароматы страниц Геродота, Гомера...“

Позднейшие подражания „Тарика“ пишутся в XVII веке еще: в XIX веке пресечена литература в Судане; и на вопрос, почему ныне нет уже книг, в Тимбукту отвечают: „уже среди нас нет ученых: мы—бедны“. Причина—анархия; времена марокканского ига отмечены рядом восстаний, опустошающих город; и вот туарег, вырастая в рок анархий призраком рока, отрезывает Судан от Туниса, Алжира; и—от того же Марокко; в 1770 году туарег появляется под стенами „ученого“ города; в XIX веке владычество туарегов окрепло; а с 1861 года и до занятья французами Нигера—хаос царит здесь.

Но пламенем черной культуры, прекрасной по-своему, озарено величавое прошлое нигерийских пространств; туареги, как ливень, залили огонь черной жизни, а дикари смежных наций развеяли угли костра Тимбукту; но—как знать: может быть, прикоснувшись к культуре Европы чрез Францию, и пережегши ее—не в Нигерии, а на стенах Парижа когда-нибудь вспыхнет по-новому черное прошлое: белое око Европы погаснет-ли в пламени дымном Судана, иль—странно окрасившись, разовьет пестроцветный ковер световых преломлений своих? Черный уголь, зажженный,—сжигает дотла; но огромные массы горящего

угля—рождают слезу бриллианта; страшна та культура, которая почернела от времени; нам за Францию боязно. Но, быть может, Европа, когда она станет громадною массою угля — родит: бриллиантовый свет [1]).

Брюссель 1912.

56. ПОСЛЕСЛОВЬЕ

Читатель прошелся по коврику; он вопрошает: зачем эти краски? Где цифры, статистика, экономика, „капитал", „борьба классов" и прочие аттрибуты сериозной работы?

Какая-то сплошь болтовня, легкомысленный танец цветов, танец слов.

Но я ставил иную задачу: дать точный отчет о летающих пятнах пути, о случайно летающих мыслях, о танце случайностей память—кодак—мне нащелкала их; лишь теперь, через несколько лет, проявил я пластинки, слегка ретушировав их этнографией и иными „вопросами"; эти „вопросы" — ретушь пестрых пятен.

В читателе встали „вопросы", быть может, о Северной Африке; запись пути пробудила внимание в нем; нет — „развесистой клюквы"; есть — Африка; если бы так это было, то автор доволен. Пускай же читатель обложится книгами; пусть он читает Кальдуна: и прошлое старой Берберии встанет; пусть, далее, вспомнит он Моммсена; про современность расскажут Пикэ, Елисеев; и — прочие; пусть пробежит он Реклю.

Для чего?

Чтоб не ехать в Монтрё, Биарриц и Монако, когда можно ехать в Тунисию, где проведет свое время в чистейших восторгах познания он; эти радости пятен пути — освежают, целят, выпрямляют „вопросы", которые в нас переломаны—нами же!

Дать же „кирпич" я не в силах; писать популярно научные очерки — трудно и скучно: читать их — скучнее еще; популярные очерки — явный венец глубины изучения; надо, воистину,

---

[1]) Сведения о Тимбукту, Дюннес почерпнуты мной из сочинения Дюбуа: „Timbouctou la Mystérieuse".

быть Масперо, чтобы дать популярный Египет; и надо быть Эберсом, археологом и профессором, чтоб написать популярный роман о Египте; когда Мережковский пытается вызвать историю в толстой „Трилогии“, право, почтительно прячем зевок: очень скучно! Без знанья конкретных деталей эпохи и быта эпохи одно остается: выдумывать.

. . . . .

Популяризаторы без глубины изучения — скучный народ, притупивший давно интересы, создавший „араба“, которого нет, создающий „дэндизм“ в Ренессансе, создавший „Аиду“ в Египте; быть Верди в искусстве не трудно; быть Верди в науке — науку убить; так за двадцать каких-нибудь су узнаем мы о физике, об электроне, о полюсе, о Титикаке (вулкане); и—прочем.

Базар мелочей, взятых так, как впервые они выступают в сознанье во всей непосредственной данности есть задача „заметок“; как пестренький коврик, стелю его под ноги.

А Магомет, покупаемый за 20 су...— эту книжечку только что видел (пишу через год в шумном Брюсселе) — Магомет, вероятно, не бывший нигде, никогда.

Я еще покупаю и книги, и книжечки об арабах, Тунисии, Тимбукту; и читаю их в Брюсселе, позабывая о куклах культуры, вертляво снующих; недавно, фланируя, остановился, увидевши пестрые надписи „Tunisie“ перед кино; я вошел и забылся: и здесь, и в кино-зданье благороден Тунис.

. . . . .

Я недавно сидел в утонченной компании; здесь адвокат-депутат, социалист, близкий друг Ван-дер-Вельде, жена его (вагнерианка), банкир (собиратель картин), декадентский поэт и другие беседовали о... Лемонье и Жорданс; и я -- убежал; этот „милый“ банкир, может-быть, нажился на бумагах бельгийского Конго (на негрской крови, на слоновых клыках); и я думал о том, что занятие Триполи — факт, что сплошной марокканский грабеж доведен до конца.

Брюссель 1912 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 5

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

Глава первая. От Москвы до Палермо. 7—33

1. Миголет. 7
2. Блески Венеции. 11
3. Испарение вод. 13
4. Венеция. 19
5. Странники 21
6. Майя и правда Венеции 23
7. От Венеции 25
8. Мгновенная мысль 28
9. Неаполь 29
10. Паяц 31
11. Пароход 32

Глава вторая. Палермо. 34—79

12. Золотая раковина. 34
13. Райский садик 37
14. Палермо 39
15. Стихии 46
16. Mondello 49
17. Окрестности 51
18. Смеси 54
19. Мозаика. 57
20. Светопись 60
21. Слезы и смех 62
22. Маска 64
23. Кладбище Капуцинов 68
24. Багерия 71
25. Фридрих Второй 75

Глава третья. Монреаль. 80—116

26. Мертвый город 80
27. Сицилия 86
28. Монреальский собор 90
29. Мозаика 99
30. „Ristorante Savoia" 102
31. Монреалец 104
32. Лабиринты 108
33. Под мраморным мороком 110
34. До Туниса 112

Глава четвертая. Тунис. 117—149

35. Tunis la blanche 117
36. Изразцовые смехи 120
37. Минарет 122
38. Базары 124
39. „Матмата" 129
40. Среди толока тел 133
41. Тунис 138
42. Кафэ 144
43. Побережие 148

Глава пятая. Радес. 150—199

44. Радес 150
45. С крыши 152
46. Старец 155
47. Араб 156
48. У двери 160
49. Записи, наблюдения 162
50. Наш дом 168
51. Дуновение 170
52. Друзья 171
53. Италия 176
54. Максула. Радес 182
55. О „высших" и „низших" 186
56. Черный пламень культуры 191
57. Послесловие 197

